

- **АРКАДИЙ ЛЬВОВ**  
Павел и Павел
  
- **МЕЛВИЛЛ ШАВЕЛЬСОН**  
Одиннадцатая заповедь
  
- **МОСКВА—РИМ**  
Десять противоречивых мнений о нешире
  
- **ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИЯ  
В ЕВРЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ**  
Пolemические суждения
  
- **ДОЛЖНО ЛИ ИСКУССТВО СЛУЖИТЬ  
НАРОДУ?**  
Нина Воронель

**22 - 9**

1979

**МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ**

# ДВАДЦАТЬ ДВА

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

Общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

**9**

ТЕЛЬ-АВИВ

октябрь  
1979

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

АРКАДИЙ ЛЬВОВ. Павел и Павел. . . . .	3
БОРИС ЧИЧИБАБИН. Стихи (предисловие Ю. Милославского) . . . . .	32
МЕЛВИЛ ШАВЕЛЬСОН. Одиннадцатая заповедь (оконч.) . . . . .	43
<i>ДЫМ ОТЕЧЕСТВА...</i> АМРАМ. Виды Израиля . . . . .	69
Памяти Михаила Лихта. . . . .	73
МИХАИЛ ЛИХТ. Exit. . . . .	75

### ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ГРИГОРИЙ ФРЕЙМАН. Оказывается, я еврей. . . . .	80
---	----

### РУССКАЯ АЛИЯ И ИЗРАИЛЬ

<i>МОСКВА—РИМ</i> (дискуссия о нешире – Э. Кузнецов, А. Дранов, Л. Шварц, А. Вейнберг; М. Агурский, Н. Вайман, А. Воронель, В. Польский, Б. Шилькрот, Г. Брановер) . . . . .	106
---	-----

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

МОШЕ БЕН-НАФТАЛИ. Политическая карта религиозного Израиля . . . . .	137
РАФАЭЛЬ ПАТАЙ. Израильские зелоты . . . . .	147
Колонка редактора . . . . .	157

### РУССКИЙ ВОПРОС

ВАДИМ БЕЛОЩЕРКОВСКИЙ. Реакция, религия и социализм. . . . .	161
МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Диссиденты: революционеры или охранители . . . . .	170

### СУДЬБЫ ИДЕЙ

ИСАИЯ БЕРЛИН. Затруднения современного либерала . . . . .	187
---	-----

### КУЛЬТУРА

НИНА ВОРОНЕЛЬ. Листки из блокнота . . . . .	194
---	-----

### СРЕДИ КНИГ

М. ЮРЬЕВ. Материалы к нашей биографии. . . . .	212
Ю. ГОФМАН. Ариец из Конотопа. . . . .	214

### ПИСЬМА

М. ХЕЙФЕЦ. Письмо из ссылки . . . . .	219
А. ВОРОНЕЛЬ. Реплика . . . . .	222

## ЛИТЕРАТУРА

— Сколько тебе?

— Ты знаешь: в марте семьдесят три будет.

— А мне двадцать четыре.

— Знаю.

— Знаешь, конечно. А кто старше, знаешь?

— Опять философствуешь. Дурная у тебя привычка.

— При чем тут привычка! Я хочу сказать, что старше тебя, а не брюзжу, как ты. Одна старуха-человек в Пакистане, говорили по телевизору, прожила двести три года, она помнила восстание тысяча семьсот семьдесят пятого года против англичан. А про собаку из Нью-Гэмпшира, которая прожила до тридцати четырех лет, писали во всех газетах.

— Что ты хочешь сказать?

— Не притворяйся: ты хорошо понял меня.

— Я не верю, что старуха прожила двести три года.

— Это твое личное дело. Я мог бы тебе напомнить, что Адам жил девятьсот тридцать лет, Ной — девятьсот пятьдесят, а Мафусаил — девятьсот шестьдесят девять.

— Перестань молоть чепуху.

— Хорошо, Моисею и Библии ты не веришь, но Плинию ты обязан верить. А он говорит, что иллириец Дандон умер в возрасте пятисот лет.

— Я никому не обязан верить. Это во-первых. А во-вторых,

*Аркадий Львов*

**ПАВЕЛ И ПАВЕЛ**

подвинуся и подбери хвост, чтобы он не щекотал мне пятки.

— Ну и характер у тебя. Другой бы на моем месте уже давно ушел, а я терплю все твои штуки, но имей в виду: у меня тоже есть нервы!

— Не дыши мне в лицо. Я просил тебя не есть перед сном мяса, мясо застревает в зубах, от этого дурной запах изо рта. Перед сном надо пить кефир. Если тебе не нравится кефир, ешь творог. Я сегодня принес свежий творог.

— Ты? Как же ты мог принести творог, если не выходил из дому?

— Значит, это было вчера.

— Но я вчерашнего творога не ем, ты хорошо знаешь.

— Сколько раз надо повторять: подбери хвост — он щекочет мне пятки.

— Ты уходишь от главной темы: мы говорили о твороге.

— А я не хочу говорить о твороге. Имею я право или нет?

— Да, у тебя есть право, но, если ты хочешь, чтобы я с тобой разговаривал, считайся с моими желаниями.

— Господи, до чего он обнаглел! Откуда у тебя эта идиотская уверенность, что ты мне нужен больше, чем я тебе? В конце концов, пенсию получаю я один, и ты живешь на мои средства, а без меня ты бы окошел с голоду.

— Так! Я знал, что рано или поздно ты начнешь меня попрекать. Твоя старуха была права на все сто процентов: ты не можешь не попрекать.

— Интересно у тебя получается. Пока старуха была жива, ты всегда становился на мою сторону, а теперь, когда тебе нужен союзник против меня, ты всегда обращаешься к старухе. Это низость.

Тот, с хвостом, вдруг рассмеялся, отбросил верх одеяла на живот и сказал:

— Послушай, какая у меня встреча была сегодня в поликлинике. Я заполнял требовательный листок возле ящика, где вызывают доктора на дом, а одна старушка подходит ко мне и говорит: "Мальчик, я потеряла очки, заполни мой адресок".

Он опять засмеялся, сбросил одеяло еще ниже, так что хвост и одна нога оказались уже сверху, а старик укрылся до самых ушей и пробурчал:

— Не понимаю, что здесь смешного.

— Так ты дослушай до конца. А я, знаешь, как ответил ей?

Старик молчал, тот, который рассказывал, ждал вопроса, но старик все молчал, и тогда он не выдержал, засмеялся в третий раз и сказал:

— А я ответил ей: пожалуйста, девочка!

— Ты хам, — пробормотал старик. — Старый человек, слепой, потерял очки, а ты потешаешься.

— Э-хе-хе! Вот как ты рассуждаешь, Павел: значит, она меня мальчиком может назвать, а я ее девочкой — нет. Теперь я вижу, какое тебе фрaternитэ-эгалитэ нужно. А она, между прочим, не обиделась. Она погладила меня по голове, сказала, до чего же густые кудри, как у королевского пуделя, поблагодарила и пошла себе домой.

Теперь засмеялся старик. Успокоясь, он спросил:

— А зачем же она приходила в поликлинику?

— Как зачем? Чтобы доктора к себе на дом вызвать!

Старик стал смеяться очень громко, и чем громче он смеялся, тем синее делалось его лицо. Вдруг смех перешел в странный, нечеловеческий, булькающий звук, вены на шее вздулись, старик откинул назад голову, задрал подбородок кверху; тот, что был рядом, мигом соскочил на пол, побежал к креслу, где лежала подушка с кислородом, и в два прыжка воротился на место. Старик беспорядочно двигал руками, пытаясь, видимо, найти трубку, хотя трубка была уже у его рта. Наконец синева прошла, вены опали, руки, обессиленные, но уже спокойные, легли вдоль тела, и он спросил старика:

— Ну, тебе легче? Я вижу, Павел, тебе лучше. Я не говорю, что совсем хорошо, но лучше. Правда, лучше?

— Да, — подтвердил старик, — лучше. Ляг рядом, плотнее: меня знобит.

Старик закрыл глаза и попросил, чтобы он растер своей лапой ему грудь, но пусть не слишком прижимает: у него предчувствие, что приступ повторится.

— Павел, — сказал он, растирая старику грудь, — ты ведь интеллигентный человек, ты сам говорил мне: кто верит в предчувствие, тот делает все, чтобы оно сбылось.

— Ты прав, — согласился старик, — но я забыл добавить, что это не всегда в наших силах — уйти от предчувствия. Не три так сильно: у тебя сегодня очень жесткая шерсть.

Старик определенно капризничал — шерсть была сегодня такая же, как всегда, — но он промолчал, чтобы не раздражать его.

— Хватит, — сказал старик, — кажется, все в порядке. Давай поспим немного.

Четверть часа они молчали, пытаясь заснуть, старик три или четыре раза менял позу, прислушиваясь к его дыханию, и наконец не выдержал:

— Если ты еще не спишь, достань, пожалуйста, таблетку барбамила. И четверть стакана воды.

Тот не откликнулся, и тогда старик, уже безо всякой обходительности, повторил:

— Слышишь, Павел, принеси мне таблетку барбамила и четверть стакана воды.

— Тебе нельзя барбамила, — ответил старику Павел. — Доктор говорил, что барбитураты плохо действуют на печень, а у тебя камни. Потом у тебя разболится печень, и ты потребуешь но-шпу, потом, чтобы успокоиться, — элиниум...

— Слушай, — злобно произнес старик, — если ты не принесешь мне таблетку, я сброшу тебя с кровати, и спи себе на полу.

— Хорошо, — сказал он, — я буду спать на полу, а ты сам иди за своим барбамилом.

Павел вытянул из-под кровати половик, взял резиновую подушку, надул ее, прислонил к стене, укрылся своим ватником с четырьмя отверстиями для ног, лег и через минуту захрапел. Вначале он храпел очень громко, было впечатление, что он просто хочет позлить старика и показать полную свою незаинтересованность в его постели, но понемногу храп утих, перешел в ровное с шуршащим присвистом дыхание, и старик уже без раздражения слушал его.

Рядом, через стену, хотя было уже за полночь, играли на фисгармонии. Играли тихо, чтобы не потревожить людей, старику почему-то захотелось плакать, он изо всех сил держал себя в руках — и все-таки заплакал.

В голове у старика очень странно все перемешалось: он увидел себя мальчиком, мальчик перебежал через бульжную мостовую, чтобы лучше рассмотреть человека, которого хоронят, и вдруг оказалось, что в гробу лежит он сам, старик, а мальчик думает про себя, вот какой я буду, когда умру. Но у мальчика не было тоски, не было даже обыкновенной тревоги, и старик в гробу — что совсем уже было нелепо — оплакивал этого мальчика, который ничего еще не понимал и которому даже собственная смерть представлялась чужой, не имеющей к нему отношения.

Старик долго плакал, мальчик то исчезал, то возвращался опять, и в одно из своих возвращений он вдруг посмотрел старику прямо в глаза, и у старика от этого взгляда остановилось сердце. "Павел!" – хотел позвать старик, но вместо крика получился шепот, который мог услышать только тот, от кого он исходил.

Старик сделал последнее усилие, придвинулся к краю постели, свесил руку и пошевелил пальцами. Чтобы коснуться Павла, старику следовало опустить руку ниже, сантиметров еще на пять, но для этого нужны были силы, а сил у него не было.

Однако Павел, несмотря на крепкий сон, почувствовал между верхними лопатками тепло, которое бывает от человеческой руки, когда эта рука ласкает. Он приоткрыл один глаз, чтобы не выдать себя, и стал наблюдать. Рука старика была неподвижна, чуть-чуть шевелился один палец – средний, самый длинный. Павел продолжал прикидываться спящим, чтобы позлить старика, но вдруг огромная тоска стиснула ему ребра, изнутри и снаружи одновременно. Он вскочил на ноги, попятился от кровати и заскулил. Потом он задрал голову кверху и протяжно завыл, как будто все уже было потеряно.

Средний палец старика опять шевельнулся, и Павел вспомнил про аптечку, в аптечке был нашатырный спирт, кремлевские капли и нитроглицерин. Дверца аптечки всегда оставалась открытой, но, в страхе, он перепутал действия и, вместо того чтобы просто взять нужные лекарства, захлопнул дверцу и теперь никак не мог отворить ее. От досады и нетерпения положение делалось только хуже. Павел на секунду-другую прекратил свои попытки, чтобы унять дрожь, и после этого дверца почти сразу поддалась, он схватил бутылку с нашатырем, нитроглицерин и кремлевские капли, подбежал к постели, откупорил бутылку, смочил ватку и положил ее старику под нос. Не дожидаясь, пока к старику вернется сознание, он открыл ему рот, влил двадцать кремлевских капель, разбавленных двумя ложками воды, а под язык сунул таблетку нитроглицерина.

Через минуту или полторы лицо старика утратило свечную желтизну, и Павел тихонько, потому что пережитое требовало выхода, опять заскулил. Затем он поднял свисавшую руку старика, положил ее на кровать и прижался головой к пальцам. Рука была еще холодная, он очень медленно, чтобы не причинить старику беспокойства, растирал ее челюстью, рука оживала, средний

палец, самый длинный, застрял у него возле уха и никак не мог выпутаться. Он попытался чуть отвести голову, но палец не освободился, хотя мог освободиться, и тогда Павел понял, что старик уже вполне пришел в себя и только притворяется, будто не может выпутать своего пальца.

— Слушай, — прошептал он, — я принесу грелку, ты положишь ее на грудь и тебе станет совсем хорошо.

Палец старика перестал упрямяться. Павел принес грелку, налил из термоса горячей воды, прижал для пробы к своей груди, вода была чересчур горяча, он добавил стакан холодной и подал грелку старику.

— Спасибо, — сказал старик. — Если хочешь, ляг со мной рядом.

— Хочу, — сразу ответил Павел, хотя про себя подумал, что старик мог бы прямо, нисколько не скрывая своего желания, пригласить его.

Он повесил на гвоздь свой ватник, выпустил воздух из резиновой подушки, половик забросил под кровать и очень ловко примостился на самом краю, чтобы старику не пришлось двигаться.

— Ты слишком меня щадишь, — сказал старик, — я уже совсем здоров и могу двигаться, сколько надо. Я прошу тебя, оставь эту глупую манеру опекать меня, как покойника, который неспособен сам скрестить руки на своем животе.

Павел засмеялся, старик предупредил его, пусть смеется потише, потому что кровать вся трясется и соседи, которые внизу, завтра будут жаловаться на возмутительные оргии среди ночи. Павел стал смеяться взахлеб: комната располагалась на первом этаже, под ней был склад бакалеи, так что, кроме котов и тех, за кем они охотятся, жаловаться оттуда было некому.

Тогда старик, вроде он рассердился не на шутку, потребовал, чтобы Павел немедленно умолк, а сам, будто бы нечаянно, провел пальцами у него под мышкой. Павел очень боялся щекотки и тут же скатился с кровати, крепко прижимая к туловищу все четыре ноги. Оттуда, с полу, он закричал:

— Теперь ты меня не достанешь!

Однако старик достал его и провел по шее ложкой. От ложки или от другого неживого предмета не бывало щекотки, но, когда старик еще только протягивал руку, Павел почувствовал во всем теле нестерпимый зуд и, едва ложка коснулась его, откатился к столу. "Осторожно!" — успел крикнуть старик, но было уже

поздно: Павел ударился челюстью о телевизионный столик, коротко взвизгнул и прижался ушибленным местом к полу.

— Ах, Паша, Паша! — запричитал старик. — Я же столько раз просил тебя угомониться! Просил же, просил!

Потом, увидев лужицу крови на полу, он заплакал и признал, что во всем виноват он один, что он глупый вздорный старик и на месте Павла давно бы уже ушел и даже до свиданья не сказал бы.

— Не сказал бы, не сказал бы! — повторил он два раза кряду, как будто Павлу могло сделаться от этого его признания сколько-нибудь легче.

Затем он попытался встать, чтобы принести мокрую тряпку, но Павел запретил ему подыматься и сам пошел на кухню. В комнате было слышно, как вода с злобным шипением вырвалась из крана и тут же звонко, с радостью ударила в раковину. Через равные промежутки звон прекращался: Павел отжимал тряпку и смачивал ее заново.

Потом все стихло — шипение, звон и последние, с большими интервалами, капли воды, — Павел вернулся в комнату, на ходу вытираясь полотенцем, и за стеной заиграла фисгармония.

— Как ты думаешь, — сказал Павел, — фисгармония сама играет?

— Нет, — покачал головой старик, — там живет мальчик.

— Уже три часа, — возразил Павел. — Разве в три часа ночи мальчику позволят играть?

— Он играет много лет. К этому привыкли.

— Много лет! — удивился Павел. — Почему же я не слышал?

— Ты всегда крепко спал. У кого не бывает бессонницы, тот слишком мало слышит.

Павел умолк, было впечатление, что он слушает фисгармонию, но на самом деле он обдумывал, как бы возразить старику.

— Почему же я никогда не встречал этого мальчика?

— А разве ты когда-нибудь искал встречи с ним?

Это старик верно сказал: он не искал встречи, он просто не думал о нем.

— Ты прав, — согласился Павел. — Но если фисгармония играет много лет, то мальчик за эти годы должен был вырасти, и, значит, теперь играет не мальчик.

— Нет, — опять покачал головой старик, — мальчик, у него своя манера игры. Я всегда узнаю его.

— У мальчика не может быть своей манеры игры: он еще только учится.

— Мы говорим о разных вещах: у тебя своя манера дышать, у меня — своя. Этому не учатся.

— Послушай, — рассмеялся Павел, — а может быть, это играешь ты сам и никакого мальчика нет?

Старик пожал плечами.

В пять часов фисгармония перестала играть. Из трамвайного депо вышел первый трамвай, водитель хриплым голосом крикнул кондуктору, чтобы тот побыстрее справил свою нужду, а то он уедет без него, график подпирает, и пусть кондуктор тогда нанимает себе такси и догоняет его. Кондуктор, женщина, ответила нехорошим словом, но водитель не обиделся, наоборот, он сделался даже добрее и крикнул кондуктору, пусть не торопится — он подождет ее, сколько надо.

— Кончилась ночь, — сказал старик. — Достань мои туфли. И принеси свежие носки.

Пока старик одевался, Павел смотрел в окно. За окном была непроглядная ночь, но так казалось отсюда, из комнаты, где было чересчур много света.

— Утром прохладно, — предупредил старик, — надень ватник.

— В ватнике будет жарко, — возразил Павел. — Я надену вельветовый жилет. Хорошо, что он на молнии. С пуговицами и шнурками в десять раз больше возни.

— Я уже сто раз об этом слышал, — проворчал старик. — Мелочи не стоят того, чтобы им столько внимания уделять.

— Мелочи? — удивился Павел. — Мелочи — то, чему уделяют мало внимания, а если уделяют много внимания, какие же это мелочи!

— Болтун, — очень спокойно произнес старик. — Ты просто болтун. Где мое пальто?

— Помолчи. Ты видишь, я наблюдаю, как занимается утро, а ты меня беспокоишь всякой чепухой.

— Хы! — возмутился старик. — Я понимаю, что мое пальто для тебя чепуха, но для меня это не чепуха. Эгоист!

— Твое пальто от нас никуда не уйдет, а солнце ждать меня не будет.

— Солнце бывает каждое утро, — сказал старик, — не делай из этого события.

Павел обернулся, с полминуты молча смотрел на старика, вздохнул не слишком громко, но так, чтобы старик услышал, и опять уставился в окно.

— Ты не вздыхай, — продолжал старик, снимая пальто с вешалки, — ты лучше помоги, когда тебя просят. И сам догадаться мог бы, что надо помочь, а не ждать, пока тебя попросят.

Павел подошел к старику, расправил пальто, чтобы удобно было просунуть пальцы в рукава, потом круто, как это делают гардеробщики, подтянул его кверху, старик даже крякнул от удовольствия, но спасибо не сказал.

Утро было синее, как сумеречный свет в деревьях, когда облетает листва и открывается паутина среди голых ветвей.

— Доброе утро, — поздоровался дворник. — Вышли подышать воздухом. И Павлик с вами.

— Доброе утро, дядя Лукьян. Подышать.

— Утром воздух еще не загаженный, — сказал дядя Лукьян, — а днем загаженный. Люди думают, что воздуху сколько угодно, потому что воздух не хлеб, за него платить не надо. А воздух только на земле, в космосе воздуху ни за какие деньги не достанешь. На горах — и то воздуху не хватает, надо внизу, на земле, запас брать.

— На земле, — подтвердил старик и быстро пошел к Александровским садикам, а дядя Лукьян кричал ему вдогонку:

— К морю идете. Идите, идите: на море воздух еще чище.

Пересекая Александровские садики, Павел сказал старику:

— Когда я был маленький, он меня бил метлой и камни бросал за то, что я метку оставлял у нашего парадного. Я тоже мог сделать ему больно, но я боялся, что у тебя неприятности будут.

— Неприятности были бы у тебя, — возразил старик. — Мне намордника не стали бы надевать.

— А мне за что? Он всегда первый задирает.

— Что можно дворнику, того нельзя тебе, — ответил старик.

Павел хотел спросить, почему дяде Лукьяну можно, а ему нельзя, должна же быть справедливость для всех, а если не для всех, какая же это справедливость, но не спросил: пусть старик и все другие думают, как им нравится, а его мысли — это его мысли.

— Дядя Лукьян не злой, — сказал вдруг, квартала через два, старик. — Он свои обязанности выполняет, а человеку, когда он свои обязанности выполняет, надо указать, где остановиться.

ся. Иначе, откуда ему знать, где кончаются эти обязанности, если никто не останавливает его?

— Он меня бил метлой и камни бросал, я тоже мог сделать ему больно, — повторил Павел.

— Ты думаешь, ему очень надо было про воздух с нами рассуждать? Нет, — покачал головой старик, — он про что угодно мог бы говорить, только бы слушали его. У одного обоняние, у другого усики, а у него — слова, этими словами он проверяет, как мир относится к нему.

— Он бил меня, а я был еще ребенок, — проворчал Павел.

— Ты нарушал порядок, он не мог знать, где ты остановишься, — с уверенностью произнес старик. — Кроме того, рядом были другие, их тоже следовало убедить, что он добросовестно выполняет свои обязанности.

— Нет, — возразил Павел, — многие защищали меня и негодовали.

— Возможно, — ответил старик. — Но это потому, что он аккуратно выполнял свои обязанности и они могли не беспокоиться. Я думаю, о тебе вообще речи не было: ведь они говорили не о твоих правах, а о его обязанностях. Они нападали на него, а он все равно стоял на своем. Теперь они могли быть уже не только спокойны, но и уверены.

— Нет, — опять возразил Павел, — они защищали меня и негодовали. Зачем было им притворяться?

— При чем здесь притворство? — рассердился старик. — Я говорю о том, что они чувствовали, а не о том, что они при этом думали. Конечно, они сами себе говорили, что возмущаются искренне и защищают тебя искренне. Они даже подраться могли бы с дворником.

— Из-за меня? — спросил Павел.

— Из-за тебя, хотя дело не в тебе.

— Нет, — осклабился Павел, — дерутся всегда по-настоящему. Когда дерешься, не надо притворяться.

— Это верно: бьют искренне, — старик хлопнул Павла по тмени и засмеялся, — обманывают себя только в мотивах.

— Что за штуки, — прогундосил Павел, — и так голова трещит.

Они подошли к обрыву, Павел спустился первый и, пока старик догонял его, отбежал в сторону, где темнели кусты. Было по-утреннему тихо, море размеренно, отсчитывая время, ударило в берег. Павел оглянулся, старика еще не было, бросился на

землю, остервенело перекатываясь с боку на бок, и вдруг услышал стон.

Это был голос старика, никто другой на свете так не стонал. Продираясь сквозь кусты, которые безостановочно хлестали его своими ветками, Павел выскочил на дорогу под обрывом.

Их было двое: один зажимал старику рот, другой снимал с него пальто и отстегивал ремешок с часами.

— Пшел! — крикнул Павлу тот, что зажимал старику рот.

— Пшел вон! — повторил другой, выбрасывая назад ногу.

Павел схватил ногу зубами в том месте, где икры: хозяин ноги взвыл и рухнул наземь. Тогда другой оттолкнул старика, выхватил из кармана нож и пошел, ведя перед собою острием, на Павла.

— Дурак, — крикнул Павел, забегая сзади, — я из тебя котлету сделаю. Брось нож!

Тот выронил нож, упал вдруг на четвереньки, отчаянно заскулил и стал лизать ботинки старика. Другой, который лежал на земле, вытянул вперед губы и аппетитно зачмокал.

Павел стоял рядом, на двух ногах, чтобы старику было удобнее держаться за него, и теперь они были одного роста.

— Идем, Паша, — сказал старик. — Мы опаздываем сегодня.

Те двое, на четвереньках, чуть склонили головы набок и выжидательно смотрели вслед уходящим. Было впечатление, что они сами не встанут, что им требуется разрешение, Павел два раза оглянулся, но старик махнул рукой и сказал, пусть не оборачивается, пусть смотрит вперед: что позади, то позади.

На берегу было прохладно. Старик прижал к себе Павла, поднял доверху молнию, чтобы жилет плотно облегал его грудь, но этого показалось ему недостаточно, он расстегнул свое пальто и одной половиной укрыл Павла. Тот сопротивлялся, говорил, что ему и без того жарко, но старик делал вид, будто все эти слова никак его не касаются, и даже стал снимать с себя шарф.

— Уймись, — сказал Павел, — ты своими заботами отравляешь мне всякое удовольствие.

— Когда холодно, удовольствия не бывает, — возразил старик, — кроме того, своим упрямством ты меня лишаешь всякого удовольствия.

— Но ты же меня заставляешь делать, как тебе нравится, а я тебя не заставляю, — прогундосил Павел.

Старик не ответил на эти слова, он прислонился головой к Павлу, и так они сидели до восхода. Когда взошло солнце, оба зажмурили глаза, Павел потерся носом о висок старика, прижался к нему еще крепче и сказал:

— Хорошо — жить.

Потом он вспомнил старуху, удивился, что она бывала недовольна, когда старик уходил с ним к морю, и впервые пришла ему в голову странная мысль: старуха очень боялась смерти, но жизнь не любила.

— Где ты будешь жить после меня, — сказал вдруг старик. — Если бы я мог переписать на тебя ордер.

— Пойдем, — сказал Павел, — Привоз уже открыт.

— Пойдем, — вздохнул старик.

Трамвай был бескондукторный. Когда они поднялись, водитель крикнул, пусть на Павла тоже берут билет. Павел подошел к кассе, выбил два билета, показал их водителю, тот, хотя слышал, как дважды щелкнул резак, посмотрел билеты, прочитал вслух номера и пробормотал, вроде ему стало неловко за свое подозрение:

— Вы со стариком давайте на передние места, где инвалиды и дети, а то на Привозе вас затолкают.

Остановка трамвая была у рыбных рядов. Старик взял вязку бычков, бычки еще пахли морем, два раза обнюхал вязку и передал Павлу, а продавец обиделся: бычки только что с моря, кому не нравится, нехай отдаст назад и забирает свои деньги.

— Зачем назад? — удивился Павел. — Рыба свежая.

— Дывысь! — обрадовался продавец. — Подожди, на тебе еще вязку. Деньги не надо. Без денег.

— Спасибо, товарищ, — поблагодарил Павел, — нам больше не нужно: мы берем рыбу только на один день.

— Так приходите завтра: я скумбрию принесу. Качалку. Вы такой качалки сроду не видали. Придете? А?

В молочных рядах старик сыскал бабушку, у которой они всегда брали молоко. Она, издали еще, спросила насчет здоровья старика, Павлика и сразу, не дожидаясь ответа, стала жаловаться на собственное здоровье: кости болят, боки болят, а в голове гудит, как на аэродроме, хуже, чем на аэродроме, — там погудит, погудит и перестанет, а здесь не перестает.

— У вас, наверно, давление, — предположил старик, — примите депрессин, депрессин помогает.

— Не, деточка, не помогает: я его три пуда съела, а гудит, как на аэродроме. Мне только от мерзавчика облегчение бывает — кровь разгонит, разгонит, и сразу легче делается. Я доктору говорила, пусть мне спирт на лечение в аптеке выпишет. А он: мамаша, спирт — для наружного употребления. Хорошо, говорю, доктор, выпишите для наружного: я кости помажу, боки, голову натру.

Павел засмеялся, но тут же, чтобы не вышло превратного впечатления, сказал:

— Доктор больному не верит. Думает, больной притворяется, а человеку на самом деле выпить хочется.

— На самом деле, Павлик, — подхватила бабушка, — а он не верит, ни за какие деньги не верит. Я тебе молочка налью: ты из стакана или из мисочки?

Старик поморщился:

— Из стакана. Из миски хлебать удобно, а пить надо из стакана.

— А я, — призналась бабушка, — больше люблю из бутылочки: у нее горлышко узкое, по краям не разливается.

Павел выпил молока, достал из кармана платок, расправил его, тщательно, особенно в уголках губ, вытерся, осмотрел платок, затем сложил его вчетверо и положил в карман. Бабушка про Павлика сказала, он у нас галантерейный мужчина, а насчет себя сообщила, что носовых платков с детства не любила и больше рукавом или подолом обходилась.

— Ну, — любезно заметил Павел, — я вынужден платком: у меня рукавов и подола нет.

Бабушка задумалась, однако очень скоро сообразила, что Павел действительно вынужден, а у нее есть свобода выбора.

— У вас, у женщин, — опять любезно заметил Павел, — конституция другая. И к тому же хлопоты, так что свобода выбора относительная. Вам на себя осмотреться некогда — только за другими и подбирай.

Бабушка вдруг расплакалась, еще налила в стакан молока и заставила Павлика выпить, а сама взяла каплю из мерзавчика, потому что в голове у нее от волнения опять аэродром сделался.

— Да, — вздохнул Павел, — вам достается.

Покупатели, сначала с недоумением, потом с большим интересом, какой непременно появляется у всякого человека, когда при нем дельные разговоры о жизни ведут, слушали Павла, и вдруг три женщины одновременно, вроде бы сговорясь, попросили, чтобы Павел поворожил у них на руке.

— Товарищи, — виновато улыбнулся Павел, — я не хиромант.

Отказ Павла только распалил женщин; они, хотя по-прежнему в виде просьбы, стали весьма настойчиво требовать, чтобы он предсказал им судьбу. Потом одна из них догадалась, что у старика должен быть ящик с билетиками, но, так как по нынешним временам это занятие запрещенное, надо старика и Павла оградить от посторонних глаз.

Вокруг старика и Павла в секунду образовалось очень плотное кольцо, причем с наружной стороны оно продолжало расти. Старик, глядя на Павла, произнес какой-то странный звук, тот чуть кивнул головой и бросился вправо, норовя прошмыгнуть между ног. Однако маневр не удался, поскольку женщины заранее предусмотрели возможность вероломства. Тогда старик сказал: ладно, они согласны погадать, только не здесь, а в Щепном ряду, где трамвайное кладбище. На это предложение откликнулись по-разному, но прежнего единства уже не было, кольцо разомкнулось, и Павел немедля выскочил наружу. Тут женщины поняли, что вероломство все же взяло верх над доверчивостью, и закричали в один голос: "Жулики!" Были такие, что требовали задержать старика и доставить куда надо, однако другие возражали, что обман, если он уже удался, все равно не теряет своей силы, хотя бы и покарали самих обманщиков.

— Жулики! — еще раз закричали женщины, чтобы хоть немного освободиться от тяжелого чувства досады и несправедливой обиды.

Старик догнал Павла у аттракциона братьев Косых — мотоциклы на вертикальной стене.

— Видишь, — сказал он, — как нехорошо получилось.

— Нехорошо, — согласился Павел, — но мы же не виноваты.

— Нет, — возразил старик, — именно мы виноваты. Мы создали у этих людей ложные надежды. Они были заняты своим делом, а мы отвлекли их от дела пустыми надеждами.

— Никто их не отвлекал, — проворчал Павел, — они сами захотели отвлечься. Им просто надоело заниматься своим делом.

— Возможно, — сказал старик, — но пока нас с тобой не было, они продолжали делать свое дело.

— Твоя старуха, — прогундосил Павел, — тоже всегда жаловалась, что я своими штуками будоражу ее воображение и мешаю ей нормально, как все люди, жить. А какие у меня штуки? Я есть я, не могу же я быть другим.

— Не можешь, — подтвердил старик. — Но и они не могут.

— Где же выход? — спросил Павел.

— А выход в том, — рассердился старик, — чтобы ты вел себя пристойно и не совал свой нос, куда не следует.

— Значит, — съехидничал Павел, — пусть я буду я, но пусть мое поведение будет такое, вроде бы я уже кто-то другой — не я.

— Болтун! — еще больше рассердился старик. — В этот раз нам просто очень повезло: ты даже не представляешь себе, как люди поступают с теми, кто обманул их надежды!

— Значит, — сообразил вдруг Павел, — не надо обманывать надежды: давай заведем ящичек с билетиками, и я буду каждому, по желанию, вытягивать его судьбу или воровать по руке.

— Нет, — покачал головой старик, — так мы только продлим обман, но рано или поздно нас разоблачат.

— Послушай, — закричал радостно Павел, — послушай, что я придумал! Мы не будем обманывать надежды, мы будем только отодвигать, даже не отодвигать, а просто передвигать сроки исполнения: в конце концов, мы не боги и не можем до последней секунды все предвидеть. Кроме того, если обещание или надежда не сбываются точно в срок, люди и сами находят этому объяснение. А объяснить — это почти то же, что оправдать, ты сам говорил.

В цирковом балагане объявили начало нового сеанса смертельно опасного номера — мотоциклы на вертикальной стене.

— Спешите увидеть! — кричал человек в мегафон. — Спешите!

Хотя человек ничего не говорил о возможном исходе, в голосе его и в самом призыве поспешить был уважительный страх перед будущим, которое нельзя предвидеть с полной гарантией. Эта ограниченность гарантии придавала настоящему привкус тревоги, и люди спешили увидеть, потому что сеанс мог оказаться последним.

— Странно, — пробормотал старик, — балагану уже пятнадцать лет, за это время ничего не случилось, а люди спешат увидеть, потому что может случиться.

— Вот, — заметил Павел, хотя старик вовсе и не обращался к нему, — а ты говоришь, что люди мстят за обманутые ожидания. Я был еще маленький, когда люди уже спешили сюда, чтобы увидеть, и сегодня спешат, и еще через пятьдесят лет спешить будут. Нет, главное — чтобы надежда держалась; а когда именно она сбудется — это не главное.

— Спешите увидеть! Спешите! — в последний раз перед сеансом объявил мегафон.

— Мячики! Мячики на резинке! — кричал безногий в тележке с моторчиком.

— Свистульки: петушки, воробчики и другие птички! — кричал другой безногий рядом, тоже в тележке с моторчиком. — Один гривенник.

— Ну и цены. На старые деньги воробчик стоил полтинник, — сказал Павел безногому. — А в магазине цены, как раньше, только дефицит. Шкуру дерете с покупателя. Сбрось пятак.

— А тебе чего! — возмутился безногий, однако же, чтобы не упустить покупателя, две копейки сбросил и еще предложил за пятнадцать парю.

— Не надо, — решительно отказался Павел.

— Чего не надо! — опять возмутился безногий. — Они тебе в паре яйца наладут: на завтрак будешь свежие яички кушать, чудак.

— Нет, — повторил свой отказ Павел и потребовал сдачу с гривенника: две копейки, двадцать копеек на старые деньги.

— Иди, иди, — замахал руками безногий. — У меня сегодня торговля такая, что дай одному сдачу, дай другому — сам без галош останешься.

— Это он правильно говорит: торговли сегодня нет, — подтвердил другой безногий.

У Павла от этого разговора нехорошо покраснели глаза и стала вздрагивать нижняя челюсть, безногий вдруг заговорил про милиционера, который здесь, за углом, так что можно в два счета проверить каждого по документам, а у кого документов нету, того фюить — и будь здоров!

Безногий вдруг засвистел, но не в петушка и не в воробчика, а в настоящий милицейский свисток. Старик, который до этого времени слушал, как режут мотоциклы в балагане и как над этим ревом внезапно поднимается человеческий стон, обернулся на милицейский свисток. Павел стоял на двух ногах, вроде приготовился к прыжку, а безногие — в своих тележках, причем уже оба свистели, багровея от удушья, в пронзительные милицейские свистки.

Опять, как полчаса назад в молочном ряду, собралась толпа. Однако в этот раз старик первым делом дал Павлу пинка, потянул его за ухо и тем сообщил всему событию будничным, при-

вычный вид. Люди, убедаясь, что ничего такого не происходит, обозлились на калек и потребовали, чтобы те прекратили свой дурацкий свист. Калеки, понятно, сразу остановиться не могли, и, когда пришел участковый, люди стали интересоваться, по какому праву они пользуются служебным милицейским свистком. Участковый, сколько ни приступали к нему, на вопрос не отвечал, а только повторял:

— Не скопляйтесь, граждане! Не скопляйтесь! Кому надо, где надо разберемся. Давай не скопляться!

Люди, хотя и недовольные, поскольку не получили ответа, понемногу расходились. Безногий, тот, что первый поднял шум, подкатил к участковому, спросил насчет дежурства, насчет погоды, взял его за руку, подержал немного, скосил глаза влево, вправо, громко пожаловался на плохую торговлю и отъехал на старое место — у главных ворот, которые на улицу Советской Армии выходят. Участковый взял под козырек, подмигнул и на прощанье крикнул: “Давай трудись, ухари-купцы!”

— Свистульки: петушки, воробчики и другие птички! — закричал безногий. — Один гривенник штука.

Павел, когда услышал голос безногого, опять вспомнил про две копейки, двадцать копеек старыми, которые тот ему недодал, и от нового приступа обиды остановился посреди дороги. В этот раз старик не бранил его, а тихо, чтобы не обращать внимания прохожих, вразумлял:

— Плюнь ты, Паша, на эти деньги. И вообще, радоваться надо: раньше у нас не было свистульки, а теперь есть. Ты дай мне свистульку, я посвистать желаю.

Павел хотел возразить, что они не могут сорить деньгами, что у них одна пенсия на двоих, но вдруг расплакался, отошел к стене, где водосточная труба, и торопливо стал вытирать слезы своим вчетверо сложенным платком.

— Паша, — сказал старик, — платок у тебя несвежий: возьми мой.

А Павел от этих слов еще сильнее расплакался, стал судорожно прижиматься головой к трубе, и старик больше не тревожил его, потому что по себе хорошо знал: если хочется поплакать, надо поплакать. Потом, когда Павел пришел в норму, старик сказал, кто не плачет, тот не смеется, засвистел в свою свистульку, оба захохотали, и от хохота корчились, будто пьяные. Слезы застилали им глаза, дорога была вся в тумане, старик споткнулся об

ограду, но на ногах устоял, и тогда они захохотали, как сумасшедшие, потому что за оградой была лестница вниз, под землю, а под землей был винный погребок "Ромашка" с двумя арбузами на стеклянных дверях.

Они спустились вниз, старик стал в очередь, Павел, чтобы потом не надо было ждать со стаканами в руках, сразу занял место у бочки, которая служила здесь столом. Старик взял лидию пополам с рислингом, одну конфету на двоих и примостился рядом с Павлом.

— Смотри, — сказал сосед, когда Павел опорожнил свой стакан, — я думал, он не пьет, а он пьет. У меня дома, я сам из Фонтанки буду, Антон есть — так его никакими силами не уговоришь: не берет в рот — и конец концом. Давай еще по стаканчику — от меня угощение будет.

По здешним законам отказываться от угощения было неприлично, старик и Павел приняли стаканы без благодарности, потому что благодарить тоже не полагалось, и сосед, когда делили конфету на троих, опять сказал:

— А моего Антона никакими словами не уговоришь: не берет в рот — и конец концом.

Потом места у бочки попросил еще один, при галстукке, сосед предложил по стаканчику на четверых, Павел пожал плечами, однако угощение принял и в этот раз, сосед от такой душевности прослезился, полез к Павлу целоваться и опять вспомнил Антона:

— А мой Антон, гад, никакими словами не уговоришь его: не берет в рот — и конец концом.

Потом от другой бочки подошли еще двое, они заказали по кружке на каждого, чокнулись с Павлом и потребовали, чтобы он с каждым поцеловался по-нашему, по-православному — троекратно.

— Товарищи, — сказал Павел, икая, — я уже перебрал, заявляю пас, а похристосоваться можно.

Сосед похристосовался первый и громко запел богохульную песню: с вином мы родились, с вином мы умрем, и нас похоронять из пьяным попом!

После соседа похристосовались с Павлом двое, которые подошли позже. Они же сообщили, что возвращаются с ночной смены, а насчет водки рассудили между собою вслух, что ее, по теперешней химии, всю из древесных опилок гонют, а виноград прямо из земли растет.

— И яблоко из земли, — сказал сосед.

Двое, которые с ночной смены, задумались, однако тут же подтвердили:

— Правильно, и яблоко из земли растет.

— А я, — встрял вдруг Павел, — не верю, что водку из опилок гонят.

— Он не верит! — изумились сосед и те двое. — Все верят, а он один не верит. А кто ты такой, чтобы не верить?

— Почему я один? Вот товарищ, — Павел кивнул в сторону гражданина при галстукке, — тоже не верит.

Товарищ сказал, что верит, и, между прочим, поинтересовался, где трудятся сосед и двое, которые с ночной смены.

— Деревянные мешки делаю, — по-пьяному засмеялся сосед и икнул человеку прямо в лицо. — Устраивает? Не, ты прямо говори: устраивает или не устраивает? Может, тебе адрес надо? Ты не стесняйся: здесь чужих нету.

— Ну зачем так, — поморщился Павел. — У каждого своя работа: у вас своя, у товарища своя. Всякий труд почетен.

— О! — воскликнул сосед. — Так он тоже работяга: коллега, можно сказать, по труду.

— По профессии, вы имеете в виду, — машинально поправил Павел.

— Ну да, — загоготал сосед, — он работает по дереву и я по дереву. Только его больше листочек и плод интересует, а в нашем деле древесина главнее.

— Совершенно верно, — улыбнулся товарищ, — я действительно селекционер.

— Селекционеру, — рассудили между собой двое, — главное дело, время терять нельзя: с ходу решать надо — чего в рост пускать надо, чего сразу на перегной.

— Совершенно справедливо, — подтвердил селекционер. — Я, хлопцы, у вас в долгу: если не возражаете, еще по кружечке.

Хлопцы не возражали, однако по причине того, что уже и так выпили изрядно, без предупреждения, по-джентльменскому, разошлись, чтобы не причинять селекционеру обиды прямым отказом.

Старик, пока не свернули за угол, несколько раз оглянулся и все ускорял шаг, а за углом хватил, ни с того, ни с сего, Павла по шее.

— Что такое, — захныкал Павел, — что я такое сделал, что ты меня ударил?

— Молчи, болтун! Пьяная морда.

— Болтун, пьяная морда, — совсем разнюнился Павел, — оскорбляет вечно. Дерется. Уйду от тебя — и все, живи себе тогда один. Сам за грелкой будешь ходить, и ноги сам себе растирать будешь, эндартериит несчастный.

— У, пьяная морда, — угрюмо повторил старик.

По улице Шолом-Алейхема, до того места, где она упирается в скверик, шли молча. Павлу очень надо было зайти во двор, но он крепился и не обращался к старику, чтобы тот не подумал, будто он ищет повода заговорить с ним. А в скверике старик сам увидел, что Павлу невтерпех, указал рукой, без слов, на дерево и отвернулся.

— Я не могу здесь, — прогундосил Павел. — Здесь женщины проходят. Я поищу двор, где туалет есть.

Павел миновал семь домов — на каждом из них, у ворот, была красная табличка: "Во дворе туалета нет". А на четырех из этих семи какой-то дурак написал еще сбоку мелом: "И воды".

У восьмого дома, тоже на красной табличке, сообщалось только, что во дворе нет второгодников, а насчет туалета и воды ничего не было сказано. Павел зашел во двор, посредине, у крана, играли дети, направляя друг на друга струю. Заметив Павла, они в один голос закричали, что посторонним в уборную нельзя, так как дом борется за звание коллектива коммунистического быта.

Прижимая ногу к ноге, Павел воротился на улицу и впервые подумал о человеческих правилах, как они изнурительны, и с тоской вспомнил те бесконечно далекие дни, когда старик еще не обнаружил его способностей и не заставлял его жить по этим правилам.

"Господи!" — застонал Павел, потому что часы отсчитывали уже последние секунды и бомба в нем должна была вот-вот взорваться. "Боже мой!" — сцепил Павел зубы и вдруг заметил на углу квартала плиту водостока. Не разжимая задних ног, он подполз к водостоку, сделал вид, вроде прислушивается к звону воды под мостовой, и опростался.

— Господи, до чего хорошо жить! — прошептал Павел и увидел, какое сегодня синее небо, прозрачный воздух, зеленая листва и над всем этим золотое солнце.

Потом он запел:

Эх, хорошо в стране советской жить!

Эх, хорошо в стране любимым быть!

Эту песню он слышал очень давно, других слов уже не помнил, да и в этих не был уверен, но песня была звонкая, бодрая и очень подходила к его настроению. Павел пел громко, на всю улицу, людей было мало, но, кто слышал, непременно оборачивался, улыбался и махал ему рукой. Лишь кот, перебегая в скверик, застрял посреди мостовой, дурными глазами уставился на Павла, пронзительно вдруг закричал и помчался назад. Кретин какой-то, подумал про себя Павел, но песню не обрывал:

Эх, хорошо в стране советской жить!

Эх, хорошо в стране любимым быть!

Старика Павел увидел издали: тот стоял у дерева, изредка поглядывая по сторонам, а руки держал перед собою, чуть ниже пояса. Потом старик вздрогнул, вроде его внезапно прошибло ознобом, провел рукой кверху, в сторону пояса, расправил плечи — и тут Павел дал о себе знать:

— А я все видел, а я все видел!

— Он видел! — возмутился старик. — Глупец, я волновался о тебе, я не знал уже, где тебя искать.

— А от волнения расстегиваются брюки! — очень глупо засмеялся Павел. — А в расстегнутых брюках труднее догонять.

Этот глупый смех и глупые слова привели старика в ярость, он размахнулся, чтобы дать Павлу пощечину, но рука его опуститься не успела: ее задержала другая рука, помоложе и покрепче.

— Селекционер! — закричал Павел.

— Я, — засмеялся селекционер. — Ищу вас уже два часа. Продащица не захотела брать назад вино, пришлось занять кувшин.

— Под залог или на честное слово занимали? — поинтересовался Павел.

— Я хотел под залог, — застеснялся вдруг селекционер, — но продавщица возмутилась: она сказала, пусть этот кувшин послужит судном в больнице тому, кто захочет ее обмануть.

Павел осмотрел кувшин и сказал, что для судна он никак не подходит и пожелание продавщицы лишено всякого смысла.

— Не твоё собачье дело! — грубо одернул Павла старик.

— Слова нельзя сказать, — обиделся Павел. — Сам целый день, целую ночь говорит — и ничего.

— И ночью? — удивился селекционер. — Неужели есть такое, чего нельзя днем сказать?

— Он находит, — уверенно произнес Павел, чувствуя, что селекционер берет его сторону. — Он говорит, что я болтаю, а сам в десять раз больше болтает.

— Поразительно, — опять удивился селекционер, — о чем можно говорить целую ночь напролет! И с кем?

Павел вдруг завизжал: старик нечаянно, но очень больно наступил ему на ногу.

— Давайте присядем, вот скамья, — предложил селекционер, — а то, когда стоя разговариваешь, какая-то напряженность появляется. В конце концов, нет смысла выискивать дополнительные трудности — жизнь и так сложна.

— Золотые слова, — подтвердил Павел, отпивая из кувшина. — Послушайте, она не добавляла сюда "московской"?

— Ну что вы, — развел руками селекционер. — Это стопроцентное шабо.

— Извините, — сказал Павел, беря на пробу еще глоток, — мне<sup>2</sup> показалось, отдает ершиком.

— Ах, какой вы шутник, — укоризненно сделал пальцем селекционер и тут же обратился к старику. — Кстати, он отлично владеет речью и очень самобытно мыслит. У вас, наверно, школа или группа какая-нибудь? Небольшая, я имею в виду.

— Нет, — очень грубо ответил старик, — никакой школы и никакой группы у меня нет. Мы живем вдвоем.

— Профессиональная тайна, я понимаю, — уважительно произнес селекционер. — К слову, если желаете, я готов исповедаться перед вами. Черт возьми, вы нравитесь мне!

— И вы мне! — воскликнул Павел, хватая селекционера за руку. — Какие красивые часы у вас! У моряков заграничные достали? Или на бонны? Кнопка для чего? Для музыки?

— Для музыки, — сказал селекционер, выдирая руку. — Отпустите.

Павел отпустил, однако успел нажать кнопку. Музыка не получилось, вместо музыки зазвучал голос соседа из винного погребка:

— Деревянные мешки делаю. Устраивает? Нет, ты прямо говори: устраивает или не устраивает? Может, тебе адрес надо? Ты не стесняйся: здесь чужих нету. — Голос соседа кончился, ему

ответил голос Павла. — Ну зачем так. У каждого своя работа: у вас своя, у товарища своя. Всякий труд почетен.

Павел сказал, что голос соседа почти как в жизни, а его собственный не очень похож: он узнал себя только по тексту. Селекционер нажал кнопку, разговора не стало, и Павел, ничуть не скрывая своей зависти, признался, что впервые в жизни видит часы, которые не только показывают время, но и могут повторить человеческие слова человеческим голосом. Потом он сам догадался, что эти часы селекционер вовсе не покупал, а получил по месту службы, и спросил, нельзя ли и ему там устроиться хотя бы на полставки, но с обязательным условием, чтобы выдали такие часы. Селекционер сказал, что сразу ответить не может, но заметил, что специалисты им требуются постоянно и как только он наведет справки, Павел будет извещен без промедления.

Затем Павел вдруг перескочил на совсем другую тему и пристал к селекционеру с расспросами, зачем тому в его работе такие часы, а селекционер весело засмеялся, вскочил со скамьи, потянул за собой старика, Павла и затеял хоровод:

Каравай, каравай,

Кого любишь, выбирай!

Они кружились очень быстро, от стремительного мелькания невозможно было разглядеть лица, а селекционер все увеличивал скорость, Павел даже стал опасаться, что старик с его большим сердцем может не выдержать, но внезапно послышался пронзительный вопль, часы сыграли "Ти-ри-ри бумбия, сижу на тумбе я!", причем последние звуки шли уже из-под земли, и кружение мгновенно прекратилось.

Старик и Павел стояли над люком, крышка торчала поперек отверстия, держась на выступах. На крышке был черный щит и вдоль большой его оси красный зигзаг, не то молния, не то сломанный меч.

— Там провода и ток, — вдруг сообразил Павел, — он погиб!

Крышка, едва Павел произнес эти слова, скрипнула, медленно, вроде бы кто-то оттуда, из люка, придерживал ее, стала наклоняться и очень мягко легла на обод.

— Теперь могут сказать, что мы его убили, — заплакал Павел. — Он сам туда упал, и крышка сама закрылась, а мы здесь ни при чем. Мы сами могли туда упасть.

— Паша, — сказал старик, — вылей вино, кувшин разбей, осколки закопай. Только не здесь — отойди подальше.

Подыскивая удобное место, Павел судорожно всхлипывал и машинально отпивал из кувшина. Наконец в дальнем углу он нашел подходящее место, опрокинул кувшин, хотя в этом уже не было надобности, поставил его в ямку под деревом и пустил метров с полутора кирпич. Кувшин раскололся в черепки, Павел набросал сверху земли и раскрошил несколько сухих комьев, чтобы здесь было, как везде.

Старик, когда Павел воротился, нехорошо посмотрел на него и велелдохнуть.

— Опять набрался, — покачал головой старик, однако ничего оскорбительного в этот раз не добавил.

Тем не менее Павел надулся, поскольку нашел очень обидным в такой обстановке слово “набрался”, не говоря уже о том, что он вовсе не набирался, а просто отпивал, чтобы утолить жажду, которая всегда очень усиливается от больших переживаний.

— Ах, Паша, — вздохнул старик, — какой ты делаешься нахальный, когда тебе сходит с рук.

Время близилось к обеду, главные часы города, на здании горсовета, сыграли несколько тактов из “Белой акации”, старик заметил, что они спешат почти на целую минуту, а Павел задал очень глупый вопрос: могут или не могут куранты записывать разговоры горожан?

Старик задумался, а затем вполне резонно ответил, что подобный вопрос может прийти в голову лишь болтуну, который не имеет власти над собственным языком. Однако Павел истолковал этот ответ по-своему: если бы можно было прямо сказать “нет”, старик не стал бы рассуждать насчет болтунов, которым приходят в голову всякие дурацкие вопросы.

— Ах, Паша, — опять вздохнул старик, — какой ты делаешься нахальный, когда тебе сходит с рук.

— По-твоему, — проворчал Павел, — я всегда нахальный, когда не поддакиваю тебе. Ты вечно подавлял мою индивидуальность, а у меня тоже есть свое “я”. Ты говорил, что всякое “я” надо уважать, а сам плюешь на мою индивидуальность. А я, если хочешь знать, люблю себя и уважаю такого, как есть. Когда по-настоящему любишь, так ничего переделывать не надо, а когда не по-настоящему, всегда что-нибудь не так.

— Паша, Паша, — покачал головой старик, — как ты не бережешь себя. Когда меня не будет...

— Милиция будет, — заржал вдруг Павел, — а моя милиция меня стережет.

— “Бережет”, — поправил старик и сказал про Павла, что инфантильность в его возрасте — это большой порок: она избавляет его лишь от предвидения неприятностей, но не может избавить от самих неприятностей.

— А когда ты умрешь, — возразил Павел, — у меня вообще никаких неприятностей не будет. Теперь я вечно дрожу за тебя, а тогда мне не надо будет дрожать — я стану полностью свободный, куда захочу, туда и пойду. В Крым уеду, на Кавказ — там круглый год тепло.

Старику очень хотелось объяснить Павлу, какой он глупый в своих мечтах о будущем, которое выглядит таким заманчивым только потому, что представляется ему свободным от теперешних неудобств. Однако ничего этого не объяснил, а сказал лишь, что в Крыму и на Кавказе не круглый год тепло. Павел же, под действием выпитого, сделался совсем бесстрашный и чуть не на всю улицу заорал, чтобы старик перестал страшить его, и вообще, если так будет продолжаться, он прямо сейчас возьмет и уйдет, и никто на свете его не остановит.

Потом, когда с улицы Косвенной выскочили на своем грузовике гитцели, он разошелся уже без всякой меры, стал выкрикивать в их адрес разные непристойные слова и нагло потребовал, чтобы они освободили несчастных, которых зарканили, используя обман и насилие. Гитцели, понятно, возмутились, прыгнули на землю и побежали со своими арканами на Павла.

— Остановитесь, янычары! — закричал Павел, высоко подняв над головой свой жетон с номером. — Вы не имеете права: я зарегистрирован, моя личность неприкосновенна!

— Остановитесь! — закричал вслед за Павлом старик. — Вы не имеете права: он зарегистрирован по закону! Он заслуженный: у него золотые медали, скульптор лепит с него голову!

Гитцели не могли не слышать эти слова, но они делали свою работу так, будто бы права Павла и его заслуги — все это было лишь пустой звук и никакого касательства к настоящей жизни не имело.

— Остановитесь! — еще раз закричал старик, однако гитцели не остановились, и тогда он велел Павлу бежать. — Беги, Паша!

Как нередко случается в жизни, на единственный практичный шаг решаются слишком поздно, когда его уже нельзя сделать:

гитцели оттолкнули старика и одновременно набросили свои арканы на Павла. Он успел рвануться в сторону, но это привело лишь к тому, что петля еще туже затянулась у него на шее.

Гитцели поволокли Павла к машине. Человек, который сидел в кабине, выскочил наверх, отодвинул решетку и приказал гитцелям поторопиться, а то они слишком много времени потратили на одного.

— Селекционер! Дядя! — радостно закричал Павел. — Вы же меня знаете.

Человек из кабины глянул на Павла, пожал плечами и сделал знак шоферу: езжай.

В кузове, как только туда забросили Павла, обитатели его истерически заголосили. Павел с трудом протиснулся к задней решетке, прижался лбом к прутьям, глотнул побольше воздуха и с силой выдохнул:

— Прощай! Крепись!

Старик, держась обеими руками за сердце, бежал за машиной. Люди вокруг негодовали и кричали гитцелям, что это беззаконие, произвол, этого нельзя так оставлять, но гитцели за долгие годы своей работы привыкли к этим крикам и не обращали на них внимания.

Машина спустилась на Балковскую улицу, которая соединяет два заводских района — Пересыпь и Товарную, — и скрылась из виду.

Отсюда нельзя было определить, в какую сторону повернули гитцели, и последний призыв Павла: "Прощай! Крепись!" — казалось, шел отовсюду, даже сверху, где крыши, дымоходы и кроны столетних деревьев.

Вдоль Балковской тянулась на много километров канава, по которой сбрасывались сточные воды. Через канаву был перекинут мостик, старик остановился, чтобы послушать журчание воды. Вода была грязная, с запахами, с загадочными бурунами и фонтанчиками.

— Ах, Паша, Паша! — зарыдал вдруг старик. — Какой ты глупый мальчик.

В голове у него все перепуталось, и, хотя слова были осмысленные, он не понимал, о ком плачет и кто этот глупый мальчик: он ли сам или Павел. Потом он вспомнил странные слухи о живодерне, где из собак делают мыло, эти слухи были еще из детства,

и ему захотелось кричать, чтобы от крика его остановились воды и сдвинулись камни.

Он в самом деле закричал, но воды не остановились, камни не сдвинулись: все вокруг оставалось, как прежде, вроде в мире ничего не переменялось.

В Дюковском саду было тихо, на пруду беззвучно, вокруг ивы, кружили черные лебеди, на железнодорожном мосту при-  
трахтывал едва слышно тепловоз.

Старик сел на скамью, с дерева, торопливо каркая, взлетела ворона.

— Прощай! Крепись! — закричал Павел с дерева, откуда взлетела ворона.

Старик лег на землю. Улыбнулся. И умер.

Павел вернулся домой около полуночи. Он мог бы прийти и раньше, потому что освободился еще засветло, когда гитцели пустились в погоню за бродягой на Новомосковской дороге. Павел предвидел эту ситуацию заранее и предложил всем, кто был в кузове, шуметь самым наглым образом, а сам тем временем гвоздиком и проволокой стал ковыряться в замке. Гвозди, проволоку и веревку он, по старой привычке, всегда держал в кармане. Замок был огромный, пятифунтовый, и одним своим видом нагонял ужас на тех, кто имел основание его опасаться. Павел, однако, очень хорошо знал, что у больших и малых запоров есть общее свойство — и те, и другие отмыкаются.

Замок и решетка полетели на мостовую. Гитцели, которые к этому времени успешно закончили погоню, оторопели, а человек, похожий на селекционера, с диким воплем выскочил из кабины, хотя безопаснее было, конечно, отсиживаться там. Только шофер оставался безучастным, как будто эти события никак его не касались.

Впрочем, гитцели и человек из кабины зря перепугались, потому что все хотели домой и никто не помышлял о мести. Несчаст-  
ный, которого схватили на Новомосковской дороге, тоже воспользовался суматохой и бежал, волоча за собою арканы. Вероятнее всего, с таким грузом ему удалось бы уйти не слишком далеко, другие же были настолько заняты собой, что не могли оказать ему помощи. Один лишь Павел, увидев его, закричал:

— Эй, приятель, я помогу тебе.

Однако приятель почему-то испугался и покатился кубарем с насыпи. Свободные концы арканов оплели железнодорожный

столб, который уже много лет стоял здесь без дела, и остановили беглеца. Петли затянулись при этом до отказа, глаза у бедняги полезли на лоб, язык вывалился, и, промедли Павел самую малость, бедняга наверняка расстался бы с жизнью, хотя и сохранил бы свободу.

Люди, которые оказались свидетелями этого события, потешались над гитцелями и поощряли беглецов криками, свистом и улюлюканьем, вроде бы у каждого из них был здесь свой личный интерес.

Чтобы запутать следы, Павел долго блуждал по окраинным улицам. Когда пробило полночь, он трижды — один длинный и два коротких удара — постучал в дверь и стал прислушиваться. В комнате стояла мертвая тишина. Павел чувствовал, как сердце его замораживают эфирными тампонами и вместе с теплом из тела уходит жизнь.

— Господи, господа, — запричитал Павел, втыкая ключ в замочную скважину.

Наконец дверь отворилась, не зажигая света, Павел бросился к кровати, зачем-то содрал одеяло, подушку, зубами рванул на себе жилет и выскочил в окно, высадив два стекла. От окна шарахнулся человек, Павел споткнулся о его ногу, произнес неприличное слово, но задерживаться не стал.

На Косвенной улице, в том месте, где его схватили, он сделал несколько кругов, взял след старика и побежал в сторону Балковской. Однажды Павлу показалось, что он слышит за собою чье-то тяжелое дыхание, он обернулся, однако улица была по ночному пустынной: на тротуарах чернели столбы, деревья и каменные тумбы.

Старик лежал в Дюковском саду — там, где застигла его смерть. В полуметре от него сидел дворняга с заплаканными глазами. Увидев Павла, он тотчас уступил ему место, затем, когда Павел бросился на землю рядом со стариком, он громко всхлипнул и ушел подальше, чтобы не мешать чужому горю.

Дворняга слышал, как Павел объяснял мертвому человеку, что это он просто болтал, когда говорил, будто уедет в Крым или на Кавказ, где всегда тепло. Никуда он не уедет и, вообще, ему больше ничего не надо. Потом Павел достал из кармана у старика носовой платок, связал его со своим в петлю, соединил с веревкой, свободный конец забросил на дерево и осторожно,

чтобы петля не затянулась раньше времени, просунул в нее голову.

Цепеня от ужаса, дворняга помчал к железной дороге, где стрелочник дудел в свой рожок, и последнее, что он увидел в саду, был человек, который перерезал веревку и, поддерживая тело Павла, уложил его на землю.

Человек этот был селекционер, он тяжело дышал, потому что всю дорогу без остановки бежал за Павлом. Через полчаса в Дюковский сад приехал фургон с синей мигалкой, селекционер помог уложить на носилки старика и Павла, и сам, хотя посторонним не полагается, залез в кузов.

В лаборатории реанимации, куда привезли покойников, доктор сказал, что положение не безнадежное, но полной гарантии он дать не может. После этих слов селекционер попросил его на минутку в сторону, и тогда доктор уже со всей определенностью заявил, что в данном случае реанимация, то есть возвращение покойников к жизни, обязательно получится, поскольку клиническая смерть — это что-то вроде ловкого притворства, к которому, по непонятным соображениям, еще иногда прибегает природа.

*А. Львов — одесский писатель, эмигрировал из СССР в 1977 г., проживает в США. Рассказы публиковались, в частности, в журналах "Время и мы" и "22".*

---

Книгоиздательство "Москва-Иерусалим"  
выпустило книгу стихов Владимира Лазариса  
"ПРОВОДЫ",

в которую вошли избранные стихотворения последних десяти лет, объединенные в циклы "Пробуждение", "Ожидание тебя" и "Опыты". Заказы — по адресу: п/я 7045 Рамат-Ган, Израиль.

---



*Борис Чичибабин*

**СТИХИ**

Русская словесность, наконец-то, дошла до такого состояния, когда выражений вроде "глубокий кризис" или даже "функциональный распад" стыдиться не приходится. Во всяком случае мне представляется, что самоосознание этой кризисности вполне возможно. Ибо словесность медленно взбирается по восходящей части дуги. Быть может, еще лет двадцать — и мы выскочим... Такой оптимистический прогноз основан на следующих образах: мне представляется, что кризис словесности (нисходящая часть дуги) начинается внезапно, я бы сказал, каким-то биологическим взрывом — количество пишущих "не хуже, чем..." возрастает; доживающие свой век Мастера окружены сверкающей порослью "победителей-учеников". Победители — вроде бы — усвоили все лучшее, проварили это лучшее в свежем таланте — и дают плоды. Не только Потапенко, но и Муйжель писали не хуже Чехова; Вознесенский превзошел Заболоцкого, Соснора — Пастернака... Не хуже — это еще слабо сказано: победители техней, ровней, красочней учителей — как мертвых, так и агонизирующих. Литературного фона, третьестепенных сочинителей практически не существует ("третьестепенные писатели были третьестепенными мастерами" Ю. Тынянов). Прозвища типа "новый Лермонтов", "младший Мандельштам" раздаются пачками. Тогда-то резко возрастает круг читателей — особенно поэзии. Чем шире круг читателей — тем выше степень читательского неравенства, когда между старым и новым Лермонтовым разницы никакой, — а если она и есть, то не в пользу старого. Ведь если "лермонтовские качества" старого разбавлены всяческими поднадоевшими

“Смертями поэта”, а для того, чтобы понять современность психологии Мцыри надобно пробираться сквозь многочисленные длинноты устарелого, то новый Лермонтов все лермонтовские качества — сгустил и подчеркнул. Ну, скажем, перед нами — две географические карты. На одной в масштабе 1:10 изображение Московской области. На другой — такого же размера, — но в масштабе 1—10000 вся Евразия. Спрашивается, которая лучше? Я бы даже сказал: которая лучше?

Это — маниакальная часть кризисной дуги. Затем наступает депрессия. Дно. На дне нет уже ничего. Только серый мрак. Там все пишут плохо, там все Мастера умерли и никогда не воскреснут, а пишет один Рождественский, а поет один Высоцкий... Круг читателей сжимается до точки без пространства и измерения. Наступает время переводов: свет души брезжит в древнеегипетской и древнекорейской лирике, в армянском средневековье, во французском конце века. Переводы эти создавали Мастера, что, на мой взгляд, говорит прежде всего о равновеликости и равнообъемности поэзии переводящей и поэзии переводимой, — то есть если до двадцатых-тридцатых годов нынешнего века в русской словесности не было сколько-нибудь качественных переводов из Гюго, то требовалось, значит, появление такого равновеликого и равнообъемного Гюго поэта как Бенедикт Лившиц... Но сузившийся до точки круг рассуждает иначе — он ищет в переводах того, чего по его мнению не нашлось в поэзии отечественной. И тогда даже Бодлер Михаловского — “О скорбь моя, уймись, не будь такой безумной”, — звучит и плачет.

Функциональный распад словесности мог бы привести к ее самоубийству, — но тогда-то берут верх “шизоидные” компоненты кризиса. Словесность в поисках выхода словно бы “расщепляется”: часть ее уходит в ф а к т о ф и л и ю, пытаюсь колонизировать для литературы новые области (документальная проза, научная поэзия, философская поэзия, лексические конгломераты и т. п.) другая часть — в ф а к т о ф о б и ю (басенно-кафкианская символика, “потoki сознания”, разновидности “дадаизмов” и т. д.).

Этот период — наш.

Взгляд на пульсацию словесности, предложенный мною, как и всякая глобально-литературоведческая гипотеза, есть, разумеется, фикция, принудительное деление, вроде алфавитного каталога в библиотеке... Правда, без каталога ни одной книги в библиотеке не найдешь!

Но русская словесность во все свои кризисы была достаточно богата а к р и з и с н ы м и фигурами, которых ни в какой, задействованный кризисом, сектор литературного бытия не загонишь. Фигуры эти можно было бы изящно назвать мостами между двумя Ренессансами, — но они, фигуры, для этого слишком неизящны... Таков был как будто Константин Случевский. Таков есть — безо всяких аналогий! — Борис Алексеевич Чичибабин.

Начав работу в словесности в “фазе маниакальной”, Чичибабин нечувствительно миновал “фазу депрессивную”, — и, слава Богу, жив и пишет по сей шизоидный день. Естественно, что в каждый из проработанных им периодов из Чичибабина пытались нечто “взять”: его гражданственность, его

горечь, его одическую фактуру, его классицизм, его фольклорность, его говорность, его песенность, его приземленность, его религиозность.

Ничего не вышло. Потому Борис Чичибабин во все эти периоды был известен меньше, чем очередные и текущие "новые Лермонтовы", древние корейцы, фактофилы и фактофобы. Я полагаю, что Борис Чичибабин обладает двумя качествами, делающими сочинителя большим поэтом: высочайшим коэффициентом полезного действия таланта, превращающего "первую природу" во "вторую" — литературу, не страшущуюся литературы, и — бессознательной нравственно-религиозной концепцией, сводящей все "отдельные удачи" и "отдельные неудачи" во единую структуру с о е г о м и р а, с морем и сушей, небом и землей.

(Скажу здесь же: если нравственно-религиозная концепция сознательна, то получается философ, богослов, мыслитель, но не художник.)

Написанное Борисом Чичибабиным за двадцать пять лет зрелого творчества требует книги. Но по разным причинам сложилось так, что лишь второй раз в жизни этот — лучший на мой взгляд — из ныне живущих поэтов удостаивается сколько-нибудь представительной подборки стихотворений...

*Юрий Милославский*

**Подборка стихов Чичибабина публикуется без ведома автора.**

## **СУДАКСКИЕ ЭЛЕГИИ**

Настой на снах в пустынном Судаке.  
Мне с той землей не быть накоротке.  
Она любима, но не Богоданна.  
Элчан-Кайя, Салтан, Бахчисарай —  
я понял здесь, чем стал Господень рай  
после изгнания Евы и Адама.

Как непристойно Крыму без татар.  
Шашлычных углей лакомый угар,  
заросших кладбищ надписи резные,  
облезлый ослик, тащущий арбу,  
верблюжест гор с кустами на горбу —  
и все кругом такая не Россия.

Я проходил по выжженным степям,  
я припадал к возвышенным стопам  
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.

Везде, как воздух, чуялся Восток —  
пастух без стада, светел и жесток,  
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.

Который раз, не ведая зачем,  
я поднимался лесом на Терчем,  
где прах мечей в скупые недра вложен,  
где с высоты Георгия монах  
смотрел на землю в складках и тенях,  
что рисовал Максимильян Волошин.

Буддийский поп, украинский паныч,  
в Москве — француз, во Франции — москвич,  
на стержне жизни мастер на все руки;  
он свил гнездо в трагическом Крыму,  
чтоб днем и ночью сердце рвал ему  
стоперстый вопль окаменелой муки.

На облаках бы в синий Коктебель,  
да у меня в России колыбель,  
и не дано родиться по заказу.  
И не пойму, хотя и не кляню,  
зачем я эту горькую страну  
ношу в крови, как сладкую заразу.

Еще беда кромешней и черней,  
когда надежда сыплется с корней  
в соленый сахар мраморных расселин.  
И только сердцу снится по утрам  
угрюмый мыс, как бы буддийский храм,  
слетающий в голубизну и зелень.

Когда ж, устав от жизни деловой,  
упав на стол дурною головой,  
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник —  
да озарит печаль моих поэм  
пустынный мир, покинутый Эдем —  
над синим морем розовый шиповник.

1973

## КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ

Кончусь, останусь жив ли, —  
чем зарастет провал?  
В Игорево Путивле  
Выгорела трава.

Школьные коридоры —  
тихие, не звенят.  
Красные помидоры  
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы  
с горькою головой?  
Вечером на допросы  
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,  
хитрые письма...  
Красные помидоры  
кушайте без меня.

*50-е годы.*

*Из цикла "Сонеты на картинках". (1960)*

### 1. СТАРЫЙ КЛАДОВЩИК

Старик-добряк работает в райскладе.  
Он тих лицом, он горестей лишен.  
Он, с нашим злом в младенческом разладе,  
весь погружен в наивный полусон.

Должно быть, есть же старому резон —  
забыв года и не забавы ради —

расколыхав серебряные пряди,  
брести в пыли с каким-то колесом.

Ему в одышке, в оспе ли, в мещанстве,  
кричат людишки: "Господи, вмешайся!  
Да будет мир избавлен и прощен..."

А старичок, в ответ на эту речь их,  
твердит в слезах: "Да рази ж я тюремщик?  
Мне всех вас жаль. Да я-то тут причем?"

## **2. ЧТО Ж ТЫ, ВАСЯ?**

Хоть горевать об этом не годится,  
а все ж скажу без лишней чепухи:  
и я носил погоны пехотинца  
и по тревоге прыгал в сапоги.

У снов солдатских — вздохи глубоки!  
Узнай, каков конец у богатырства —  
свистя душой, с высоты покатиться  
и поползти за смертью в лопухи.

А там, в траве, служа червям кормежкой,  
лихой скелет с распахнотой гармошкой.  
В ее ладах запутался осот.

Тряся костями и похотью ощерен,  
в пустые дырки смотрит чей-то череп  
и черным ртом похабщину несет.

## **3. ПАРУСА**

Есть в старых парусах душа живая.  
Я с детства верил вольным парусам.  
Их океан окатывал, вздувая,  
соленый ветер ими потрясал.

Я сны ребячьи видеть перестал.  
И постепенно сердцем остывая,  
стал в ту же масть, что двор и мостовая.  
Сказать по-русски: крышка парусам.

Иду домой. А дома нынче — стирка.  
Душа моя состарилась и стихла,  
моя тропа полынью поросла.

Мои шаги — угрюмы и неловки.  
И на простой хозяйственной веревке  
тряпьем намокшим сохнут паруса.

#### 4. ОСЕНЬ

О синева осеннего бесстыдства...  
Когда под небом, злобным и босым,  
приходит время помнить и поститься,  
и чад ночей душе невыносим.

Проходит день, закатами косим.  
Любви не жить и небу не беситься.  
Стоят леса из бархата и ситца,  
и холодеют локти у осин.

Взывай к рассудку, никни от печали,  
душа-красотка с голыми плечами;  
давно ль была как роща весела?

Но синева отравлена трагизмом,  
и пахнут чем-то горьким и прокислым  
хмельным — хмельные вечера...

\* \* \*

Колокола голубизне  
пророчат медленную кару.  
Пройду по желтому пожару,  
на жизнь пожалуюсь весне.

Тебя поносят фарисеи,  
а ты и пикнуть не посмей.  
Пойду, пожалуйюсь весне,  
озябну зябликом в росе я.

Часы веселья так скупы,  
так вечно косное и злое,  
как будто все в тебя весною  
вонзает пышные шипы.

Я как бессонница духовен,  
и беззащитен — как во сне.  
Пойду, пожалуйюсь весне,  
на то, что холод-де уходит.

1964.

*Из цикла о России (1961)*

По деревням бродят деды,  
просят медные гроши.  
С Полунощья лезут шведы,  
с Юга — шпыни да шиши.

На Литве звенят гитары,  
Тула точит топоры,  
на Дону сидят татары,  
на Москве — сидят воры.

Льнет к полячке русский рыцарь:  
захмелела голова.  
— На словах ты мастерица,  
вот на деле какова?

А в колосьях преют зерна,  
пахнет кладбищем земля.  
Поросли травой сорной  
беспризорные поля.

Не кричит ночами петел,  
не туманится заря.  
Человечий пышный пепел  
гости возят за моря.

Ну, а к завтраму, быть может,  
воцарится новый тать...  
И никто нам не поможет,  
и не надо помогать!

## НА СМЕРТЬ ПАСТЕРНАКА

Твой лоб — как у статуи бел  
и взорваны брови.  
Я весь помещаюсь в тебе,  
как Врубель — в Рублеве.

И сетую, слез не тая,  
охаянным эхом,  
и плачу, как мальчик, что я  
к тебе — не приехал.

И плачу, как мальчик, навзрыд —  
о зримой утрате,  
что ты у трех сосен зарыт,  
не тронешь тетради.

Ни в тот и ни в этот Приход,  
мудрец и ребенок,  
уже никогда не прочтет  
моих обреченных.

.....

И скажет ли кто, — отчего  
случается часто:  
чей дух от рожденья червон,  
тех участь несчастна?

Неужто невежа и дуб  
эпохе угоден?  
А мы — у друзей на виду  
из жизни уходим.

Уходим о зимней поре,  
не кончив похода...  
Какая пора на дворе,  
какая погода!

Обстала, свистя и слепя,  
стеклянная слякоть.  
Как холодно нам без тебя  
смеяться и плакать.

*1960*

## **НА СМЕРТЬ ТВАРДОВСКОГО**

Вошло в закон, что на Руси  
при жизни нет житья поэтам.  
О чем другом, но не об этом  
у черта за душу проси.

Но лишь взлетит свободный дух  
и слягут рученьки в чернилах —  
уж их по-царски хоронили,  
за исключением первых двух.

Из слез, из терний, из оков,  
из слов недобрых, мук немалых,  
народ над миром поднимал их —  
и бережно и высоко.

На что был загнан Пастернак —  
тихоня, бука, нечестивец,  
а все ж бессмертья причастились  
и на его похоронах.

Иной удел, иную честь,  
Твардовский, сам себе избрал ты,  
за то, чтоб нам хоть слово правды  
по-русски выпало прочесть.

Ты слег, о чуде не моля,  
за все грядущее в ответе.  
О есть ли где-нибудь на свете  
Россия, родина моя?

И если есть еще народ,  
то почему его не слышно,  
и почему во лжи облыжной,  
молчит — дерьма набравши в рот?

Узнал, сердешный, каковы  
плоды, что Муза пожинала!  
Еще лады, что без журнала —  
другой уйдет без головы.

И в зимний пасмурный денек,  
устав от жизни многотрудной,  
Лежишь на тризне малолюдной,  
как жил при жизни — одинок.

Бесстыдство смотрит с торжеством...  
Земля твой прах сыновний примет.  
А там Маршак тебя обнимет:  
“Голубчик, — скажет, — с Рождеством!”

До кома в горле жаль того нам,  
что был эпохи эталоном.

И вот, унижен, слеп и наг,  
лежал в гробу при орденах,  
но с голодом неутоленным,  
на отпеванье потаенном,  
куда пускали по талонам,  
на воровских похоронах.

1972

## ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ

(Окончание. \*)



Первый гарем прибыл в аэропорт Бен-Гурион на рассвете. Его встречали представители органов абсорбции во главе с самим министром. После кратких приветственных речей прибывшим были вручены удостоверения новых иммигрантов, вслед за чем их направили в центры абсорбции. Эти центры были созданы израильским правительством на заре большой алии. Их назначение состояло в том, чтобы переделывать новоприбывших евреев по образу и подобию евреев израильских. Предполагалось, что в центрах абсорбции под умелым и чутким руководством тамошних сотрудников арабские девушки быстро превратятся в сабр — этих сильных, мускулистых, презирующих косметику израильских девиц с мозолистыми от кибуцной работы и военной службы руками и заветной мечтой — выйти замуж и превратиться в недоступных Еврейских Принцесс.

Выяснилось, однако, что арабские гурии плохо поддаются переделке в израильских солдаток. Все они были отобраны в гарем по одному признаку — добросовестному отношению к своей единственной работе. Ту же добросовестность они стали проявлять с первых же дней пребывания в центрах абсорбции.

\* Начало см. "22", №№ 7, 8.

Оценив их высокий профессионализм, сотрудники абсорбции пришли к заключению, что трудовая переквалификация, с таким успехом опробованная на евреях из России, означала бы в данном случае неразумную трату человеческого материала. Поэтому решено было предоставить гуриям право самостоятельного выбора места жительства и рода занятий. И вскоре в израильской вечерней газете "Маарив" появилось первое яркое объявление: "Анонс! Ночной клуб "Содом и Гоморра"! Качество обслуживания гарантировано!" Последняя фраза была собственоручно начертана оманским султаном по-арабски.

После двухчасовой гонки по шоссе "Мерседес" Хаима-Гарольда влетел на пустынные улочки Гоморры и затормозил у огромного шатра, разбитого рядом с городским муниципалитетом. Высокий араб в белом бурнусе провел Хаима в ярко освещенный, увешанный коврами зал. Очаровательная арабка сняла с него пиджак и туфли и усадила на сатиновые подушки. Зазвучала гортанная музыка. Покачивая бедрами, новые иммигрантки поплыли перед посетителем в соблазнительном танце. Лица их были укрыты по арабскому обычаю чадрой, но на покачивающихся смуглых телах не было ничего, если не считать узенькой полоски ткани, которой не хватило бы и Моше Даяну на его знаменитую повязку.

После пятнадцатиминутного мучительного раздумья Хаим выбрал очаровательную тоненькую красавицу со странным именем Саломе и удалился с ней в отгороженный занавеской крохотный будуар. Все так же продолжая улыбаться, Саломе сняла с гостя рубашку и потянулась к его брюкам.

— Постой! — воскликнул Хаим. — Ты уверена, что у тебя вдруг не разболится голова?

Саломе повела обнаженным плечиком.

— Это было бы нарушением трудового соглашения, — заметила она. — Профсоюз меня немедленно уволит.

И в доказательство своей добросовестности она поцеловала Хаима в такое место, о существовании которого он и не подозревал.

— Как это ты попала в гарем? — поинтересовался он.

— Все еврейские мужчины спрашивают об одном и том же, — вздохнула она. — Это было так... — И она приготовилась к долгому рассказу.

— Послушай, ты не могла бы говорить и делать одновременно? — спросил Хаим, разочарованный этим внезапным перерывом в ее искусных упражнениях с его укромными местами.

— Но тогда мне придется говорить жестами, — резонно заметила Саломе.

Что она и делала на протяжении следующих десяти минут. Для Хаима этого было вполне достаточно. Его кровяное давление неумолимо приближалось к опасной отметке. Наконец оно перешло за черту.

— Довольно! — воскликнул он. — Приготовься к решающему испытанию! Я хочу, чтобы ты сделала то, на что не способна в такой момент ни одна еврейская девушка!

— Что же это? — замирая от страха и любопытства, спросила Саломе.

— Помолчать полчаса!! — объяснил Хаим.

\* \* \*

В своем овальном кабинете Голда Меир совещалась с Яковом Шенбаумом. Голда только что вернулась из Парижа. Она проверила на себе чудеса современной косметической хирургии. Результат был налицо: из пожилой еврейской женщины она превратилась в молодящуюся еврейскую старуху. Но это ее не волновало. Волновало ее в данный момент то, что происходило в Штатах.

— Послушайте, Шенбаум, — сказала она. — По-моему, наши дела плохи. Американские еврейки рвут и мечут. Мы лишили их единственного смысла их жизни. Им не нужно собирать для нас деньги.

— Ну и что? — удивился Шенбаум. — Пусть немного отдохнут. Им это тоже не помешает.

— В том-то и дело! — хмуро сказала Голда. — Им не нужно больше собирать вечера, уговаривать Леонарда Бернштейна, приглашать Иегуди Менухина, звонить по телефону Барбаре Стрейзанд. Они целыми вечерами сидят дома. Какой еврейский мужчина это вытерпит, Шенбаум?!

— Ты права, — подумав, сказал Шенбаум. — Может, они начнут собирать деньги для кого-нибудь другого?

— Для кого? — мрачно поинтересовалась Голда. — Где найдешь сегодня нуждающихся евреев? Даже в России их уже нет.



Она была права. После "треугольника Брежнева" положение русских евреев неузнаваемо изменилось. По этому трехстороннему соглашению, предложенному Израилем, Россия получала от Соединенных Штатов зерно и в обмен посылала в Израиль своих евреев. Штаты же получали от Израиля нефть и в обмен посылали России свое зерно. Русские поставки достигли такого размаха, что слухи об этом проникли даже за Уральский хребет в морозную Сибирь. Они вызвали волнение среди тамошних русских, которые не знали иной радости, кроме водки, потому что их жены уже в тридцать лет выглядели так, как Голда до омоложения. Сибиряки стали тысячами переходить в иудаизм, чтобы тоже быть обменными на зерно. Израильским властям пришлось внести поправку в Закон о возвращении. Согласно этой поправке евреем признавался только тот, кто родился от еврейской матери и, кроме того, прошел обрезание. Это несколько отсрочило превращение Сибири в Хазарский каганат, тем не менее уровень иммиграции оставался по-прежнему очень высоким. Увы, о русских евреях не приходилось заботиться...

В мозгу Шенбаума стала оформляться некая идея. Он уже от-

крыл было рот, чтобы поделиться ею с Голдой, как дверь кабинета распахнулась и на пороге возникла заплаканная Соня.

— Папа! — воскликнула она. — Хаим со мной не спит! Он обозвал меня "йентой"! Он ездит в Гоморру!!! Я хочу с ним развестись!!!! Я не хочу, чтобы он знал о ребенке!!!!

— О каком ребенке? — встрепенулась Голда.

Она повернулась к Соне и при этом мельком увидела свое отражение в зеркале. То, что она там увидела, ей не понравилось. Платье в обтяжку, чолка на лбу, лицо без знаменитых морщин. Мало того, что это была не она, Голда Меир, — это не был ее Израиль!

— О каком ребенке? — повторила она.

— О моем, — ответила Соня. — Я не хочу. Это мое тело. Я сделаю аборт. Все говорят, что это проще, чем вырвать зуб. Пусть он знает!

И она зарыдала так, будто аборт предстоял не ей, а Хаиму.

— Перестань реветь! — рявкнул Шенбаум. — И выбрось из головы всякие аборт! Ты можешь подарить мне внука, а вместо этого собираешься подарить мне вырванный зуб?! У меня своих достаточно!

И он удачно поймал на лету выскочившую от крика вставную челюсть.

— Папа, я хочу подарить тебе внука, — крикнула Соня, — но я не хочу дарить своего Хаима какой-то арабке!

— Соня, ты не смеешь!

— Папа, я уже все решила!

— Соня!

— Ша, не кричи на меня. У меня ужасная мигрень!

И с этими словами она выбежала из кабинета оплакивать свою судьбу, своего ребенка и свой зуб. А также Хаима, которого она любила, хотя не хотела себе в этом признаваться.

— Голда, — сказал Шенбаум, — что происходит в Израиле, Голда? Еврейские мужчины спят с арабскими женщинами. Еврейские женщины делают аборт, как гойки. Еврейский премьер делает себе косметическую операцию. Посмотри, на кого ты похожа, Голда! Ты должна немедленно переодеться! Тебе же не двадцать лет!

И Голда послушно кивнула.

Как всегда, Шенбаум был абсолютно прав. Ей было не двадцать.

\* \* \*

Яков Шенбаум пил мало. Рюмки сливовицы было вполне достаточно, чтобы свалить его в постель. Но сегодня он решил опустошить весь бар. Рухнули надежды всей его жизни. Он совершил невозможное — он выдал Соню замуж. Предполагалось, что после этого молодые будут жить счастливо до самой смерти, не переставая при этом грызть друг друга, как все порядочные еврейские мужья и жены. Развод? Какой еврейский муж мог подумать о разводе? И зачем? Чтобы жениться на другой такой же Еврейской Принцессе и иметь дома тот же самый ад?! Зачем тогда все хлопоты с разводом?

Яков Шенбаум изливал свое сердце бармену, который тем временем подливал ему в стакан. К тому времени, как сердце и бутылка были пусты наполовину, Яков Шенбаум был уже заполнен доверху. Бармен вызвал такси, и министр потребления, сам ставший жертвой чрезмерного потребления, был благополучно доставлен в свой дом в Савионе, где рухнул на постель, даже не сняв ботинки. Из этого забытья его пробудил рокочущий Голос.

— Шенбаум! — пророкотал Голос. — Восстань немедленно!



Шенбаум перевернулся на спину и посмотрел в окно. Там, в направлении Вифлеема, ярко горели три звезды. Впрочем, может быть, их было четыре. Или одна. Кто пил сливовицу, тот поймет.

— Кто это орет на Шенбаума? — поинтересовался Шенбаум.

— Это Я, — ответил Голос. — Господь Бог Авраама, Исаака и Иакова. А также Моисея, Иова, Ноя, Иехезкииля...

— Ша! — сказал Шенбаум. — Я задал простой вопрос, зачем читать мне целую лекцию?! У меня голова раскалывается!

— Внемли, Шенбаум! — прогремел Голос. — Иначе Я тебе устрою такую головную боль, что ты не обрадуешься!

“Ой! — подумал Шенбаум. — Неужели это Он? Наверно, Он. Кто же еще?” И он неуверенно сел на кровати.

— Что случилось? — осторожно спросил он. — Ну хорошо, я не пошел тогда в синагогу в Йом-Кипур. Но Ты же знаешь, что у меня было расстройство желудка из-за поста!

— И поэтому ты пошел играть в карты?

“Ой-ей! — подумал Шенбаум. — Это точно Он!”

— Так вот почему я тогда проиграл? — воскликнул он.

— А ты как думал? Разве тебе не было сказано: не поминай имя Господне всуе, даже если у тебя на руках четыре туза с джокером?!

— Послушай, — примирительно сказал Шенбаум, — перестань на меня греметь и ответь мне: что, я уже умер?

— Голова у тебя болит?

— Раскалывается!

— Так не будь шлимазл: как ты можешь быть мертв, если у тебя болит голова? А?!

— Тогда зачем Ты тратишь на меня Свое драгоценное время? — спросил Шенбаум.

— Это все из-за Софи, — недовольно произнес Голос. — Это она Меня послала.

Шенбаум все понял. Еще бы! Разве Господь мог устоять против Софи? Ха-ха! Это же Софи!

— Слушай, — сказал он. — Передай Софи, что я сделал все, что мог. Я выдал Соню замуж за хорошего еврейского парня. За доктора. — Он не стал уточнять, что Хаим был доктором по нефти. — Что я могу сделать, если он оказался мамзер?! Он ездит три раза в неделю в Гоморру, к этой арабке. Когда он возвращается домой, с него столько же толку в постели, сколько с меня! Ты меня понял?

— Это Я-то? Кто, ты думаешь, написал Песню Песней? Может, Шарль Азнавур? И убери свою гнусную сигару. Она воняет до самого неба!

Шенбаум послушно погасил свою Мануэлу-и-Вега. Одно дело задираться с мэром Нью-Йорка и совсем другое — с Мэром небесным.

— Ну вот, — уклончиво продолжал он. — Соня выбросила его из постели. Они немножко разошлись...

— Разошлись? — прогремел Господь. — Я слышал слово "развод"?!

— Ну, если Ты слышал, значит, так оно, наверно, и есть, — сказал Шенбаум. Он ужасно не хотел, чтобы Софи узнала. Стыд и позор! Развод в их семействе!

— Шенбаум! — пророкотал Голос. — Ты что-то от Меня таишь!

— Упаси Боже! — воскликнул Шенбаум. — Я просто думал, что Ты и так знаешь.

— Я-то знаю, — смягчился Голос, — но Софи хочет услышать это от тебя.

— Ну хорошо, — сдался Шенбаум. — Соня немножечко беременна. Она хочет сделать маленький аборт.

— Ой! — прогремел Господь, хотя уж Ему-то полагалось все это знать и раньше.

— Ты мне говоришь! — вздохнул Шенбаум. — Послушай, выключи на минутку Свои молнии, человек может ослепнуть...

— Это невозможно, — сказал Голос. — Извини. Послушай, Яков, Я не могу сказать об этом Софи. Мне здесь житья не будет.

— Ну так придумай что-нибудь, — посоветовал Шенбаум. — Соври ей...

— Я? Соврать?!

— Ты прав, это я сморозил глупость! — спохватился Шенбаум. — М-да, задачка!

Все боялись обидеть Софи. Уж такой она была человек.

В комнате и в природе воцарилась тяжелая тишина.

— Ты еще здесь? — спросил Шенбаум. — Что Ты молчишь?

— Ша, Я думаю, — ответил Голос. — Что, Я уже не имею права подумать?

— Ради Бога, — сказал Шенбаум. — Ты не против, если я закурю?

И он чиркнул спичкой. В ту же минуту ослепительная молния ударила рядом с окном.

— Ша! — воскликнул Шенбаум. — Я же только спросил.

— Шенбаум! — прогремел Ягве. — Мне не нравится то, что происходит в Израиле. Я мог бы, конечно, наслать новый потоп или парочку египетских казней, но это может испортить Мне репутацию. И потом, это, быть может, Моя ошибка. Может, Я недостаточно ясно говорил с Моисеем...

— Только большой человек готов признать свою вину, — сказал Шенбаум.

— При чем тут вина?! — раздраженно проворчал Господь. — Откуда Я мог знать, что этот Моисей такой шлимазл?! Он, видите ли, не посмел сказать пророкам, чтобы они заглянули на обратную сторону! А если впереди уже не хватало места?!

— О чем Ты? — спросил сбитый с толку Шенбаум.

— Ладно, не суть важно... Вот что, Шенбаум: пойди к этому своему мамзеру Хаиму Бернштейну. Скажи ему, пусть отправляется в Кумран. Он найдет там четыре пещеры у подножья холма. Пусть влезет в третью, самую маленькую. И чтоб не забыл свой геологический молоток! У него есть геологический молоток?

— Он одолжит у Хаймовича.

— Хорошо. В пещере слева он увидит кусок гранита. Он разбирается, что такое гранит? — подозрительно спросил Господь.

— У него диплом Техасского университета! — обиженно сказал Шенбаум.

— Ой! — разочарованно сказал Голос. — Я надеялся, что хотя бы Массачусетского!

— Он найдет! — заверил его Шенбаум. — В камнях он разбирается. Это в женщинах он не разбирается.

— Пусть найдет гранит. Пусть ударит по нему молотком. Гранит развалится. За ним обнаружится дыра. Пусть роет лопаткой. Покажется цемент. Пусть не обращает внимания. Он должен ударить по цементу молотком. Цемент отвалится. Под ним будет горшок. В старину они варили в нем чолнт, двадцать четыре часа они его варили...

— Двадцать шесть, — поправил Шенбаум. — Так говорила Софи...

— Хорошо, двадцать шесть. Что Я, специалист по чолнту?! Если Софи говорит двадцать шесть, значит — двадцать шесть! Пусть принесет этот горшок в Еврейский университет в Иерусалиме и отдаст Хаймовичу. Тот будет знать, что делать.

— Хорошо, — сказал Шенбаум. — Я сделаю. Это все?

— А что, может, ты хочешь, чтобы Я все это написал на бумаге, черным по белому? — ехидно поинтересовался Голос.

— Для Тебя я охотно сделаю исключение, — смущенно сказал Шенбаум. — Но я хотел Тебя кое о чем спросить, можно? Что будет с ребенком?

— С ребенком все будет в порядке, — мягко сказал Голос. — Но имей в виду — это Я ради Софи. Исключительно!

— А кто это будет — внук или внучка?

— Откуда Я знаю!! — проревел Голос. — Что у Меня здесь, по-моему, биохимическая лаборатория?

\* \* \*

Секретарша провела Шенбаума в кабинет Хаима-Гарольда и прикрыла за собой дверь. Шенбаум без промедления приступил к делу.

— Я здесь, — торжественно провозгласил он. — Не от своего имени. А также не от имени Сони. Я здесь от имени Израиля. Моисей был призван на гору Синай. Хаима-Гарольда призывают в Кумранскую пещеру!

— Что это значит? — нетерпеливо переспросил Хаим, поглядывая на часы. Не позже, чем через пятнадцать минут ему нужно было выезжать в Гоморру. Саломе не будет вечно держать его очередь.

— Хаим, — сказал Шенбаум, — мне был Голос. Голос сказал: “Пойди к Хаиму Бараку, в пещерах Кумрана он найдет горшок из-под чолнта, пусть передаст его Хаймовичу!”

— Послушайте, папа, — терпеливо сказал Хаим, которому вообще-то Шенбаум нравился. — Я понимаю, что вы переживаете из-за Сони. Я тоже переживаю. Я люблю ее, я хочу, чтобы она вернулась — но только на моих условиях!

— Соня тут ни при чем! — воскликнул Шенбаум. — Моя дочь не станет унижаться! Что бы ты ни сделал, она ни за что не скажет тебе, что она беременна!

— Беременна! — остолбенел Хаим. — Этого не может быть! Я всегда был осторожен!

— Ты указал, где бурить воду, а наружу вышла нефть! Это ты называешь осторожностью?!

Хаим тяжело опустился в кресло. Он был потрясен. Его любовь к Соне не шла ни в какое сравнение с влечением к Сало-

ме. Он прекрасно понимал, что страсть Саломе прямо пропорциональна ее заработку. Соня была нечто иное. Соня была реальностью; а реальность не бывает ни легкой, ни простой.

Хаим сам себе не признавался, что очень хочет сына. И сын этот не может быть наполовину арабом. Это было немислимо.

В стране древней, как мир, испокон веков проживало его племя. Порабощенное римлянами, рассеянное по лицу земли, обескровленное инквизицией, на треть уничтоженное нацистами, атакуемое арабами с молчаливого благословения англичан, предаваемое французами, попеременно поддерживаемое и останавливаемое американцами, оно продолжало жить на земле своих предков. И единственная причина тому состояла в том, что его матери и отцы принадлежали к одному и тому же преследуемому народу — по крайней мере, достаточно долго, чтобы продолжить свой род.

Хаим-Гарольд выбрал Израиль, потому что он был еврей. Иметь сына нееврея означало бы перечеркнуть четыре тысячи лет трагической и победоносной истории. Нет, Хаим-Гарольд не мог сделать то единственное, что могло бы уничтожить его народ!

— Когда должен появиться ребенок? — угрюмо спросил он.

— Может быть, никогда, — ответил Шенбаум. — Она решила принимать горячие ванны.

— Я ее убью! — закричал Хаим, вскакивая с места. — Это мой ребенок тоже! Она должна сначала посоветоваться со мной!

— Ты много с ней советовался, когда отправлялся в Гоморру?

— Это большая разница!

— Не вижу разницы, — сказал Шенбаум. — Разве что у арабской шиксы не болит голова.

— Как я могу ее переубедить?

— Я уже сговорился тут с одним... — уклончиво сказал Шенбаум. — Если ты принесешь Хаймовичу этот горшок, у Сони будет ребенок.

— Это Соня обещала?

— Не Соня, а Голос.

— Иисусе Христе! — воскликнул Хаим.

— Послушай, — сказал Шенбаум, — ты не мог бы говорить: "Моше-Рабейну"?

— Папа! — насмешливо сказал Хаим. — Вы старый человек. Вам уже чудятся голоса, молнии, вифлеемские звезды! Вы уже, извиняюсь, мелете всякую чепуху, как, извиняюсь, алтер какер!

Небо на востоке внезапно угрожающе потемнело. Тяжелая туча стремительно затянула горизонт, и из нее послышался чудовищный раскат грома, который заставил задрезжать все стекла в конторе.

— Шмок! — произнес ужасающий Голос. — Иди уже!!

И молния перечеркнула небо от края до края, как подпись под приказом.

\* \* \*

Тяжело отдуваясь и отирая пот, Хаим Барак стоял перед входом в маленькую пещеру. Луч фонарика освещал истоптанное археологами песчаное дно с разбросанными по нему черепками. "Глупость какая-то, — подумал Хаим. — Здесь уже все перекопали до меня. Лучше я скажу Шенбауму, что я ничего не нашел". И, подхватив рюкзак, он зашагал в сторону своего "Мерседеса".

— Хаим Барак! — пророкотал чей-то Голос. — Вернись сейчас же!

Хаим удивленно оглянулся. "Это какой-то трюк! — решил он. — Какой-то шутник установил в пещере громкоговоритель". На всякий случай он еще раз осветил фонариком. В дальнем углу пещеры он увидел выступающую скалу. Он опустился на колени, влез в низкую пещеру и подполз к скале.

— Шмок! — произнес тот же Голос. — Это, по-твоему, гранит? Чему тебя учили?

— Ты прав — это полевой шпат, — смущенно произнес Хаим. — Я, кажется, ошибся.

— Техасский университет! — простонал Голос. — Ну почему Мне вечно не везет?

— Вижу, уже вижу! — воскликнул Хаим.

Он действительно увидел в другом углу большой кусок гранита.

— Поздравляю! — насмешливо произнес Голос. — Смотри, не зашиби палец.

Все шло, как было предсказано. За гранитом обнаружилась дыра, в которую две тысячи лет не заглядывал ни один человек. В углу ее виднелся обмазанный цементом горшок. Хаим ощутил благоговейный трепет.

— Барух Ата Адонай, — пробормотал он. — Элоэину Мелех аолам...

— Шлимазл! — возопил Голос. — Это благословение для вина!  
— Это единственное, что я знаю, — признался Хаим. — Иначе я прочел бы благословение для виски. Я не люблю вина.

Голос тяжело застонал.

Разбив цемент, Хаим прижал к груди тяжелый горшок и пополз к выходу. Оказавшись снаружи, он выпрямился и почти бегом направился к машине.

— Не забудь, — приказал Голос, — доставь это Хаймовичу немедленно. Не вздумай задерживаться в Гоморре, иначе там будет не один соляной столб, а два!

\* \* \*

— Господа! — торжественно провозгласил профессор Хаймович, обращаясь к небольшой группе людей, собравшихся в геологической лаборатории Иерусалимского университета. Он держал в трясущихся от волнения руках свиток из ослиной кожи с начертанными на нем письменами. — Вы видите перед собой копию Скрижалей Завета, сделанную, весьма возможно, с самого оригинала!

Присутствующие затаили дыхание. Теперь они уже сами видели, что прямые линии на рисунке представляли собой очертания скрижалей, а письмена отдаленно напоминали древнееврейские.

— Эта надпись сделана на языке ессеев, — пояснил Хаймович. — Вот эта верхняя строка читается очень просто: "Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим!" И дальше, по порядку, все остальные заповеди, кончая десятой: "Не желай жены ближнего твоего". Как видите, она подчеркнута дважды. Перед нами бесценное сокровище, которое мы обязаны немедленно передать в Еврейский музей.

И он стал бережно скручивать свиток обратно.

— Шмок! — прогремел отдаленный Голос. — Переверни!!

Ошеломленный профессор едва не уронил свиток. В лаборатории воцарился благоговейный страх. Голос слышали все. Не могло быть и речи о галлюцинации — разве что массовой.

Дрожащими руками Хаймович снова развернул свиток и осторожно перевернул его. На обратной стороне тоже отчетливо виднелись письмена, которые Хаймович, запинаясь, перевел своим безмолвным слушателям:

— Одиннадцать: "Не возжелай шиксу!"

Присутствующие побледнели. Первым опомнился Хаим Барак.

— Где здесь телефон! — воскликнул он. — Я должен срочно отменить свидание.

В своем служебном кабинете премьер-министр Голда Меир принимала неожиданного гостя. Ицхак Рабин явился в сопровождении начальника разведки Шимона Гана. Изумленная Голда вышла из-за стола навстречу гостям, забыв, что она только что сняла свои новые итальянские туфли.

— Извините, — спохватилась она. — Знаете, эти новые туфли немножко жмут. Я хотела дать ногам подышать.

И она отбросила со лба белокурый локон.

— Голда, — сурово сказал Рабин. — Я бы тебя не узнал. В этом платье в обтяжку ты похожа на старую проститутку с улицы Аяркон. Извини меня.

— Это последний крик моды, — смущенно сказала Голда. — Ты хочешь, чтобы израильский премьер отставал от моды? Я должна подавать пример людям.

— Я уже видел эти примеры! Вся страна сошла с ума. Никаких налогов; все ездят на "Мерседесах"; повсюду клубы "Плэйбой" и рестораны "Максим"; в большой синагоге собираются открывать массажный кабинет. И все говорят: "Что вы хотите? Сама Голда разъезжает в "Роллс-Ройсе"!"

— Послушай, но это же выгодно, — оправдывалась Голда. — Через два года правительство сможет его продать дороже, чем он мне стоил, вот увидишь!

— Ты продашь его завтра же! Правительство Израиля не фирма по продаже подержанных машин. Ты сама не понимаешь, что с тобой произошло!

И он чуть не силой подвел ее к зеркалу.

— Господи! — сказала Голда после долгого молчания, словно до нее только теперь дошло. — Я похожа на гойку!

— Вот именно! Это все — происки наших врагов. Они сделали с тобой то, что они хотят сделать со всей страной.

— Если уж им удалось сделать это со мной, — прошептала Голда, — то с остальными тремя миллионами им ничего не стоит справиться...

— На это они и рассчитывают. Им не удалось победить нас на

поле боя, так они задумали добиться своего в парикмахерской и спальне.

— В спальне? Причем тут спальня? — удивилась Голда.

— Расскажи ей, Шимон, — обернулся Рабин к начальнику разведки.

— Голда, — сказал Шимон. — Я тебя всюду искал, чтобы доложить, но мне сказали, что ты красишь ногти. Мы получили важную информацию. Сразу же после того, как провалился план "Б", арабы ввели в действие свой следующий план "В". По моему поручению Кишнер послал Надю Хафаз в Багдад, чтобы добыть детали. Ей удалось проникнуть в спальню самого Асада.

Голда мысленно полюбопытствовала, каким образом семипудовой Наде удалось незаметно проникнуть в закрытую спальню.

— ... Она взломала дверь, — пояснил Шимон Ган. — Асад спал, но, когда Надя попыталась влезть к нему в постель, он проснулся и от страха выпрыгнул в окно. У Нади был спрятанный на теле радиопередатчик. Не буду утомлять тебя деталями — мы все знаем Надю, она могла бы спрятать на себе целую радиостанцию... Воспользовавшись отсутствием Асада, она спрятала передатчик под его кроватью и скрылась...

— Постой, — перебила Голда. — Как она могла скрыться? Там же, наверно, поднялась тревога?

— Насколько я мог понять, — смутился Шимон, — тревога действительно поднялась и ее схватили. Но она утверждает, что ее охраняли пять молодых солдат, и ей удалось их подкупить.

— Чем?

— Я предпочитаю не расспрашивать Надю о ее профессиональных секретах, — признался Шимон Ган. — У меня слабые нервы. Во всяком случае передатчик она установила, и с его помощью мы узнали, что план "В" предусматривает подрыв нашей оборонспособности с помощью арабских гурий. Теперь, когда не нужно платить налоги, у наших мужчин появилось свободное время. Раньше они вечно были заняты — то на службу, то в армию, то снова на службу, размышлять некогда, попалась девка — хватай, приходится жениться — женись, начнешь раздумывать, красива ли она, хочешь ли с ней жить, как с ней будет в постели — бам! — уже война, уже поздно! План "В" состоял в том, чтобы дать нашим мужчинам оглянуться, а пока они будут оглядываться, появятся арабские девушки, так что они перестанут оглядываться и начнут действовать. Когда же еврейские мужчины привыкнут к араб-

ским гаремам, вступит в действие вторая фаза плана. У всех арабов начнется еврейская мигрень. Они начнут пилить своих любовников: "Что, на арабке уже нельзя и жениться? Ты думаешь только о своем удовольствии, пора подумать о моем! Слушай, я порядочная девушка, сначала хура, потом все остальное!" — и так далее.

— Совсем по-еврейски, — заметила Голда.

— Да, только лучше. Они лучше приспособлены к этому делу и готовы на такое, что ни одна еврейская женщина себе не позволит...

Голда чувствовала, что под ее ногами разверзлась пропасть. План "В" угрожал самому существованию еврейского народа. По закону, евреем признавался только тот, кто родился от матери-еврейки. Дети арабских гурий юридически были бы арабами. Через одно-два поколения в Израиле не осталось бы ни одного еврея. Необходимо было что-то немедленно предпринимать! Но что?

В эту минуту зазвонил телефон. Это был Шенбаум.

— Голда! — зарычал он в трубку. — Немедленно созови кабинет! Мой зять-доктор только что сделал великое открытие!

Голда Меир, которая открыла заседание кабинета, была совершенно непохожа на ту Голду, какой она была последние дни. Она опять сменила свое парижское платье на старые шматес и выглядела, как старая еврейская бабушка, которая мудро провела свою страну через много подводных рифов.

— Я вела себя очень глупо, — сокрушенно сказала она. — Я попала в ловушку, подстроенную врагом. Мне остается только уступить место своему преемнику и надеяться, что под его руководством вы сможете спасти народ и страну.

И она со слезами на глазах уступила свое председательское место Ицхаку Рабину, который немедленно его занял. Под гром аплодисментов слово было предоставлено Хаиму Бараку.

— Господа, — торжественно начал Хаим. — Перед вами доселе неведомый манускрипт, который содержит неведомую часть Торы, которая содержит доселе неведомую одиннадцатую заповедь, начертанную на задней стороне скрижали...

— На обратной, — поправил его Хаймович.

— ... На обратной, — повторил Хаим. И добавил: — Доселе неведомой. Эта заповедь гласит "Не возжелай шиксу!"

В зале заседаний воцарилось смущенное молчание. Большинство министров были завсегдатаями ночного клуба в Гоморре.

— Господа, — продолжал Хаим, — наша национально-религиозная партия поручила мне заявить, что она уже признала аутентичность этой заповеди и распорядилась включить ее в свитки, хранящиеся в ковчеге Завета. Наша партия требует, чтобы кабинет предложил Кнессету утвердить эту заповедь как закон Государства Израиль.

В зале послышались возмущенные голоса. Уже не в первый раз национально-религиозная партия, голоса которой были жизненно необходимы для любого правительства, пользовалась своим положением, чтобы влиять на государственное законодательство. Кто-то из министров вслух предположил, что новая заповедь — просто сфабрикованная подделка.

— Минуточку! — вскочил Шенбаум. — Прошлую ночь мне был Голос! Гремел гром, сверкали молнии и над Вифлеемом появилась звезда. Даже религиозная партия не могла бы этого сфабриковать. Никогда! Это был сам Господь, я уверен! И хотя у Него всего один Голос, для меня Он всегда в большинстве.

И словно в подтверждение его слов небо на востоке начало быстро темнеть, и вдали послышался гневный раскат грома.

— Господа! — сказала Голда, попросившая слово в неофициальном порядке. Теперь, когда никто не мог заподозрить ее в скрытых политических мотивах, все, что она говорила, было продиктовано исключительно заботой о благе нации. — Господа, мы получили тяжелый удар. Пинскерстритские нефтяные фонтаны были соблазном, перед которым мы не устояли. Теперь нам приказывают изменить наш образ жизни, чтобы сохранить самих себя. Неужели мы будем настолько глупы, чтобы послушаться? Коллеги из религиозной партии правы — быть может, в первый раз в жизни. Мы обязаны рекомендовать эту заповедь как закон. Нашим мужчинам придется обходиться тем, что есть. Они немножко потеряют, народ немножко выиграет — обычная еврейская история...

Большинством голосов при двух пожавших плечами кабинет принял решение рекомендовать Кнессету утвердить одиннадцатую заповедь в качестве государственного закона.

Небо на востоке посветлело. Тучи рассеялись. Показалось солнце. И послышался щебет птиц.

Шенбаум понял, что у него будет внук. Господь был как воск в руках Софи.

Соня Шенбаум-Барак-Бернштейн сидела в горячей ванне и изучала "Домашний справочник аборт" из серии "Сделай сам". Это была ее четырнадцатая ванна за день. Соня стала красной, но не перестала быть беременной. Впрочем, она не так уж сильно этого хотела. На самом деле она хотела, чтобы Хаим вернулся домой и вытащил ее из этого отвратительного кипятка.

— Соня! — раздался голос Шенбаума. — Хаим вернулся, и он требует, чтобы ты немедленно вылезла из этого кипятка!

— Скажи ему, чтобы он провалился! — не задумываясь, ответила Соня.

— Соня! — раздался за дверью голос Хаима. — Немедленно вылезь из этого кипятка, иначе, клянусь Богом, я начну ездить в Гоморру восемь дней в неделю, не считая праздников.

— Ты меня не запугаешь! — отозвалась Соня. — Ты всегда разевал рот шире, чем мог проглотить!

И она прислушалась: не раздастся ли за дверью грохот, свидетельствующий о том, что Хаим упал на колени и готов взмолиться к ней: "Соня, ты абсолютно права!?"

Но за дверью не слышалось ничего. Хаим-Гарольд, кипя от праведного мужского гнева, уже мчался в своем "Мерседесе" по направлению к конторе на Пинскер-стрит. Мысли его были далеко. Он раздумывал, не осуществить ли ему на самом деле свою угрозу. В конце концов, недавнее открытие сделало его знаменитым. Чем черт не шутит, может, его объявят величайшим израильским археологом после Игаля Ядина?

Его мечты были грубо прерваны громким окриком "Стойте!" Он вздрогнул, поднял голову и увидел, что въезд на Пинскер-стрит перегорожен колючей проволокой, которую охраняет солдат в форме и с автоматом. Хаим нетерпеливо нажал на клаксон своей машины. Солдат поднял автомат. Хаим закричал, что он немедленно доложит об этом куда следует. Солдат дал предупредительный выстрел в воздух. Почти в ту же секунду за его спиной что-то ухнуло, и Хаим с ужасом увидел, что две ближайšie нефтяные вышки взлетели на воздух. За ними последовали еще две. И еще.

Обескураженный Хаим развернул машину и медленно двинулся назад, на ходу размышляя: "Что бы это могло означать?"

Ничего не придумав, он решил, что выяснит это потом, после визита в Гоморру. Больше всего он сейчас злился на Соню, — ведь это из-за нее он вынужден нарушать одиннадцатую заповедь.

Гоморру он чуть было не проскочил. Только развернувшись и въехав на площадь, он понял, почему это произошло. Площадь была неузнаваема. Огромный шатер лежал на земле. Рядом стояли армейские грузовики, на которые бедуины грузили своих верблюдов. Персидские ковры были свернуты, сатиновые подушки свалены грудой, кисейные занавески небрежно брошены рядом и последний тюк с электрическими вибраторами уплывал на спине грузчика в сторону Мертвого моря.

Прощай, оружие!

Неподалеку группа девушек в нескладных одеждах с громкими возгласами грузилась в автобус. Хаим с изумлением опознал в одной из них свою Саломе. Он бросился к автобусу.

— О, луна моей радости! — воскликнул он. — Какого черта ты в автобусе?

Саломе обернулась к нему, и он увидел, что она не накрашена. И что на лице у нее полно веснушек. Обыкновенная шестнадцатилетняя девчонка, Господи!

— Хаим! — восторженно закричала она. — О, мой возлюбленный верблюд! Мы уезжаем в кибуц Кфар-Иегуда. Я буду кибуцницей, Хаим! Они обещали, что мне разрешат работать в курятнике и будут платить, как мужчине! Я так рада!

— А сколько они платят мужчинам? — мрачно поинтересовался Хаим.

— Ничего!

— Чему же ты радуешься?

— Как ты не понимаешь, мы будем все равны, мужчины и женщины! Я смогу приказывать мужчинам, как они приказывали мне. Ты только подумай!

— По-моему, — сказал Хаим, — ты получала удовольствие от того, что я тебе приказывал.

— Да, но девочки из кибуца говорят, что, когда сама приказываешь, удовольствие гораздо больше. А если мне не захочется, я имею полное право вообще отказаться. Разве это не прекрасно?!

— Послушай, Саломе, — заторопился Хаим, видя, что шофер уже заводит машину. — Это все еврейские штучки, сионистский заговор, ты обязана выполнять задание Арафата и расслаблять мою



мораль, прыгай в окно, я знаю один отель в Содоме, мы там спрячемся, и я тебе открою все наши военные секреты...

— Когда-нибудь потом, мой верблюжонок! — отмахнулась Саломе. — Сейчас у меня ужасно болит голова.

И она отвернулась.

Шенбаум шел по коридору правительственного здания, направляясь к кабинету премьер-министра. Он не мог надивиться: за какие-нибудь несколько дней атмосфера в здании решительно изменилась. Чиновники говорили по телефону отрывисто и деловито; секретарши удлиннили юбки и подняли декольте; из-за двери Налогового управления доносился веселый смех.

Премьер сидел над бумагами, как генерал над картой военных действий. Вид у него был подтянутый и энергичный.

— Шенбаум, — сказал он, протягивая через стол листок бумаги, — подпишите, и мы сейчас же приступим к делу.

— А что это такое? — спросил Шенбаум, шаря по карманам в поисках очков.

— Не утруждайте себя, подписывайте и конец. Я объясню вам после. У нас мало времени.

— Ша, мальчик! — сказал Шенбаум, начиная закипать. — Не на такого напал! Шенбаума на бумажке не проведешь. Я прочту. Я подумаю. Может быть, я подпишу. Шенбаум еще ни разу в жизни ничего не подписывал, не читая.

Так и не отыскав своих очков, он взял со стола увеличительное стекло, с помощью которого премьер рассматривал Израиль на карте мира.

— Что это значит? — гневно спросил он, дочитав бумагу. — Как это, на Пинскер-стрит никогда не было нефти?!

— Это позволит нам восстановить налоги, — устало объяснил премьер. — Мы должны заставить всех поверить, что никакой нефти не было. Все это было придумано, чтобы обмануть арабов. На следующем заседании Кнессета я признаюсь, что мы купили немного нефти в Мексике, построили несколько танкеров и качали в них нефть туда и обратно, чтобы казалось, будто ее много...

— Вы хотите солгать Кнессету? — воскликнул пораженный Шенбаум.

— Разумеется. Именно тогда они поймут, что все снова встало на свое место. Я заявлю, что мы задумали это, чтобы заставить арабов пойти на переговоры, но потом увидели, что зашли слишком далеко. Чтобы все это выглядело правдоподобно, нам необходимо уничтожить все следы. Только что я распорядился взорвать все вышки на Пинскер-стрит. На этом месте будет построена синагога...

— Ортодоксальная или реформистская? — быстро спросил Шенбаум.

— Это мы предоставим решить вам, — быстро сориентировался премьер, увидев первую брешь в обороне противника.

— В таком случае я хочу, чтобы она называлась "Имени Софи Шенбаум ортодоксально-реформистская синагога равных возможностей", — решительно заявил Шенбаум. — Пусть гои дерутся друг с другом; мы противопоставим им единый фронт.

— Я согласен, — устало сказал премьер. — Подпишите. Вот здесь.

— Ша, не нужно так торопиться, — уклончиво сказал Шенбаум. — Сначала я должен посоветоваться с моим зятем. Он все-таки как-никак доктор по нефти.

— Мы не можем его найти, — вмешался стоявший у окна Шимон Ган. — С тех пор, как мы прикрыли этот ночной клуб в Гоморре, мы не знаем, где все наши люди.

— Вы его закрыли?! — обрадованно закричал Шенбаум.

— На основании нового закона, — сказал премьер. — Все гурии направлены в кибуцы. После недели работы в курятниках их уже никто не возжелает.

Лицо Шенбаума прояснилось. Он бережно сложил листок и сунул его в карман пиджака.

— Я возьму это с собой, — сказал он. — Вот мои условия. Вы должны найти Хаима и послать его домой. Он должен извиниться перед Соней и сказать ей, что она абсолютно права. Можете купить ему по этому случаю букет цветов, лучше розы, это дороже. И коробку конфет. Соня любит шоколадные, — добавил он. — Бутылку шампанского. Только французского, израильское можете пить сами. Если к утру он будет в постели с Соней так, чтобы она улыбалась, я подпишу.

— С вами трудно торговаться, — сказал Шимон Ган.

Он-то знал, как трудно заставить Еврейскую Принцессу улыбаться в подобных обстоятельствах, даже если у тебя достаточно сил для убедительных извинений.

Хаим Барак был доставлен к Шимону Гану в весьма растерзанном виде. Установив без особого труда, что в Тель-Авиве закрыты все ночные клубы и серали, Хаим с отчаяния основательно приложился к виски и был совершенно невменяем, когда его заталкивали в полицейскую машину. Перед тем как предстать перед начальником израильской разведки, он прошел через два холодных душа — одного оказалось недостаточно.

Шимон Ган кратко, по-военному, изложил ему ситуацию. Страна нуждается в услугах рядового Барака-Бернштейна. На выполнение боевого задания ему дается двенадцать часов, из них одиннадцать — в спальне. Об исполнении доложить. Вы свободны.

Но Хаим не чувствовал себя свободным. Он чувствовал себя на цепи. Или точнее — в цепи. Последние часы что-то в нем перевернули. Он почувствовал себя звеном в цепи, — но эта цепь его не тяготила, потому что это была цепь поколений. И еще потому, что он понял, что его сын должен быть следующим звеном в этой цепи, протянутой из далекого вчера в неведомое завтра его народа, живущего на земле своих предков. Он понял, что готов вернуться к Соне на ее условиях.

Соню он застал в саду. Она выкапывала из земли большие камни, брала их в руки и что было силы швыряла через забор. "Сделай сам. Домашний справочник абортот", глава четвертая. Эффектно, но не эффективно. Вероятность положительного результата: один процент для будущего ребенка, восемьдесят пять для случайных прохожих. Соня это прекрасно знала, но Хаим не знал. Поэтому, когда она, бросив очередной камень, театрально вскрикнула и изящно упала на землю, он испуганно бросился к ней.

— Мамзер, — прошептала она, открывая глаза, — что ты там щупаешь?

— Пульс, — сказал Хаим, нащупав наконец то, что искал.

— Это там, по-твоему, пульс? Так низко?

— Какая разница? Тут он тоже очень здорово чувствуется!

— Это ты наловчился на своей арабке? — спросила Соня, поднимаясь.

— Не говори глупостей! — оскорбился Хаим. — Лучше объясни, зачем ты бросаешь камни. Ты что, хочешь угробить моего ребенка?

— Это мой ребенок, — отрезала Соня. — И вообще, можешь убраться к ней, если хочешь. Я все равно красивее ее!

— Ты Абсолютно Права! — торопливо согласился Хаим. И он не очень кривил душой. В лунном свете, среди цветов, раскрасневшая Соня была удивительно хороша: с полураскрытым влажным ртом, с гневно горящими глазами, так не похожими на мягкие и покорные глаза арабских женщин.

— Это мое тело, и я могу делать с ним, что хочу! — решительно заявила Соня. — Если я не захочу ребенка, его не будет!

— Не будь так самоуверенна, — сказал Хаим. — В пещерах Кумрана мне был Голос, и Он обещал, что у нас будет сын. А Голос обычно не обманывает. Если Он захочет, чтобы у тебя был ребенок, Он своего добьется. В крайнем случае Он пошлет на тебя золотой дождь. Или голубя...

Соня засмеялась.

— Хаим, перестань говорить глупости. Ты же прекрасно знаешь, что все это — детские сказки!

Небо внезапно потемнело, как перед грозой. Сверкнула молния, и над садом прокатился оглушительный гром. Над Соней и Хаимом вспыхнули огненные слова, начертанные невидимым пальцем:

Имя ему да будет Яков!

Надпись тут же исчезла, чтобы смениться другой, более краткой:

Так хочет Софи!

Соня уронила очередной камень. Она вздрогнула от испуга. Хаим обнял ее. Они поцеловались.

— Ты не будешь уходить из дома? — подозрительно спросила Соня.

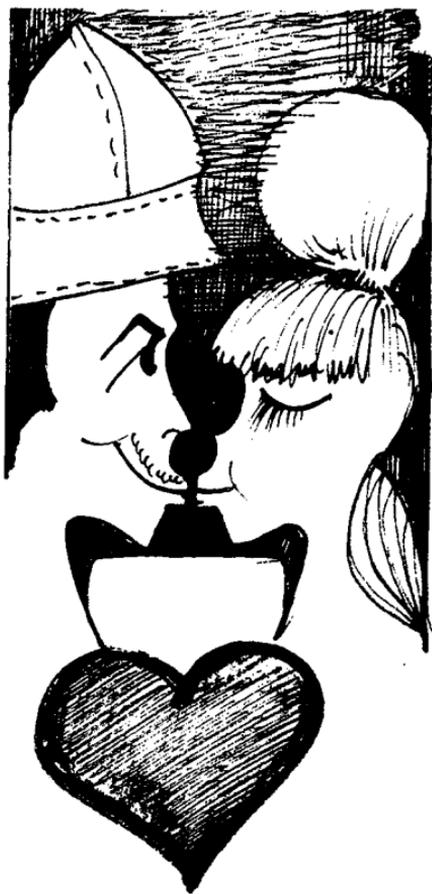
— Один раз в неделю — играть в бридж.

— Ты же не умеешь!

— Я научусь. У твоего отца. Я думаю, что теперь, когда гурий

больше нет, это будет единственная причина, по которой израильтяне будут выходить из дома.

— Хаим, — стыдливо прошептала Соня, — я совсем не хотела потерять нашего ребенка. Я просто ревновала...



— Соня, — взволнованно ответил Хаим. — Я тебя люблю. Я просто не понимал раньше, что мне суждено быть обыкновенным мужем обыкновенной Еврейской Принцессы. Но теперь я понял. Я забуду о шиксах. Я солдат, Соня. Если армия прикажет — я все забуду.

Соня опять засмеялась.

— Хаим, — сказала она, — ты в самом деле думаешь, что женился на холодной рыбе? Я тоже ничего не понимала. Я думала, что раз я вышла замуж, то нужно поступать так, как поступала моя мама — пилить мужа, стоять на своем, а в постели — только горизонтально. Теперь я поняла, что все это ерунда. Я тебе обещаю: когда ты не будешь занят бриджем, мы будем устраивать с тобой Содом и Гоморру.

— Давай начнем уже сейчас! — воскликнул Хаим и подхватил ее на руки.

— Осторожно! Наш ребенок! — закричала Соня.

— Ты Абсолютно Права! — ответил Хаим, не останавливаясь. Наверху, в своей комнате, счастливый Яков Шенбаум отошел от окна и чиркнул спичкой, зажигая свою Мануэлу.

— Яков, — задумчиво пробормотал он. — Очень даже неплохое имя...

Генеральная Ассамблея ООН, собравшаяся на внеочередное заседание, внимательно слушала выступление Генри Киссинджера.

— Господа, — сказал Генри Киссинджер. — Политическое равновесие мира восстановлено. Мы обязаны этим народу Израиля и его непоколебимой приверженности Моисеевым заповедям. Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность маленькому народу, проявившему такое огромное самопожертвование. От имени президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера я уполномочен сказать: “Мазл тов!”

И он сошел с трибуны под оглушительные аплодисменты.

Следующим выступил представитель Великобритании, который благодарил еврейский народ за спасение Британской империи, которая некогда дала еврейскому народу Декларацию Бальфура. Британский представитель закончил выражением своей уверенности, что теперь два великих народа квиты.

Французский представитель также поблагодарил Израиль за то, что тот не использовал свои возможности, чтобы наказать Францию за допущенные ею незначительные политические ошибки. Израиль может быть уверен, что Франция и в будущем будет той же Францией, которую он давно знает и любит.

Папа римский прислал кардинала, чтобы сообщить Ассамблее, что его артрит стал легче. Он обещал произнести три молитвы за Якова Шенбаума.

Затем Генеральная Ассамблея перешла к очередным делам.

Подавляющим большинством 110 голосов против нуля при 14 воздержавшихся, 11 отсутствующих по болезни и 9 застрявших в уличных пробках Ассамблея потребовала от Израиля немедленного отступления с Голанских высот, Синая, Западного берега и Иерусалима и возвращения оманскому султану его лучшей танцовщицы по имени Саломе.

Затем была принята вторая резолюция, которая обязывала Израиль немедленно освободить всех находящихся у него палестинских террористов и вернуть им их оружие — заряженное и на боевом взводе.

После этого Ассамблея тем же большинством направила приветственное послание Ясеру Арафату, приглашая его выступить на очередном заседании. Ему разрешалось выступать небритым.

В последней принятой в этот день резолюции Ассамблея заявляла о том, что Израиль исключается из Организации Объединенных Наций.

Бог был на небе — и все шло как обычно, внизу, на земле.

## ПРИМЕЧАНИЯ.

*Алтер какер* — старик. Сварливый, нудный, отвратительный старикашка. Дословный перевод — именно такой, как вы догадываетесь, и в дальнейших разъяснениях не нуждается.

*Шмок* — к сожалению, самый точный перевод — самый неприличный. Но в устах Господа это звучит вполне респектабельно — как обращение к любому человеку. А как еще прикажете Ему нас называть после всего, что мы проделали? Только шмок может с этим не согласиться.

*Йента* — старая сплетница. Для молодой девушки это оскорбление. Молодую девушку называют "мейделе" — пока она еще не беременна или не замужем (желательно не в таком порядке). Йента может быть замужем и иметь семерых детей, но даже муж не признается, что он с ней что-то имеет.

(Другие еврейские слова и выражения объяснены в примечаниях к предыдущим главам — см. "22", №№ 7, 8.)

*Сокращенный перевод с английского  
Р. Нудельмана.*

### Фонд "Москва-Иерусалим"

выпускает во втором квартале 1979 года книгу Джоэля Кармайкла

### "ТРОЦКИЙ"

Впервые на русском языке — увлекательная биография одного из вождей большевистской революции. Автор подробно рассказывает о внутривнутрипартийных и межпартийных до- и послереволюционных интригах и борьбе, восстанавливает подлинную картину Октябрьских событий и прихода Сталина к власти, воссоздает зловещие заседания Политбюро и съездов, прослеживает почти детективный сюжет террористических "чисток" и политических убийств. На этом широком фоне ярко вырисовывается противоречивая фигура честолюбивого еврейского подростка, ставшего великим трибуном, гениального организатора и беспомощного политика, поразительно провидца и одинокого человека — Льва Троцкого.

Предварительная цена книги в розничной продаже — 14 долларов; цена при предварительном заказе — 10 долларов. Предварительные заказы и чеки на имя Фонда "Москва-Иерусалим" присылать по адресу: Фонд "Москва-Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган (Foundation "Moscow-Jerusalem", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel).

Амрам

## ВИДЫ ИЗРАИЛЯ

Студент из Колумбии, еврей. Говорит об американском империализме, поработившем Латинскую Америку и кровь из нее сосущем. Приводит в пример Кубу, где сброшены оковы. Считает, что остальные страны Латинской Америки должны брать пример с Кубы. Одновременно рассказывает о Колумбии, о демократии, о высоком жизненном уровне ее. Будучи спрошен, охотно соглашается, что в Колумбии лучше и на Кубу он не хочет. Но в то же время на Кубе справедливость, и все должны следовать ее примеру. Очень ругает Пиночета. Спрашиваю, будет ли он доволен, если коммунистическая власть установится в Колумбии? Он отвечает, что да, но он уедет в Израиль.

\* \* \*

Спрашиваю в справочной "Эгеда"\* в Хайфе, когда автобус в Иерусалим? Ответ: "Не знаю!" Спрашиваю, почему не знает, он же справочная, должен знать. За окошком начинают подпрыгивать и беситься: "Ну не знаю, не знаю, ты иврит понимаешь? — я тебе на иврите говорю: не знаю, не знаю".

\* \* \*

В магазине электротоваров. Хочу купить телевизор. На полках 15—20 моделей, хозяин весьма любезен, предлагает выбирать. Я указываю на телевизор и спрашиваю про цену, хозяин листает какие-то бумаги, минут через десять называет цену. Тог-

---

\* "Эгед" — монополия израильская автобусная компания-кооператив.

да я спрашиваю, сколько стоит соседний телевизор. Хозяин раздражается: "Так вы хотите купить этот телевизор или тот?" Чтобы сменить тему, спрашиваю, какой размер экрана у двух телевизоров и в какой стране они изготовлены. Хозяин изумляется: "А я откуда знаю? Я же их не изготавливаю, только продаю".

\* \* \*

Стригусь у парикмахера. Парикмахер пожилой, приехал из СССР несколько лет назад. Невысокий, толстенький, живот колом, нос уточкой, огромный, ленинский лоб. Он стрижет и говорит, говорит и стрижет. А говорит он вот что:

— Скажите, вы не жалеете, что приехали? Нет, вы правду скажите, не жалеете? Я знаю, что жалеете. Все жалеют, и я тоже. Ой, как мне хорошо там было, как хорошо! Я самого начальника КГБ стриг. Он за мной машину присылал. Говорил — "Миша, не уезжай, Миша, мы тебе поможем, устроим". А я уехал. Ой, какой я был дурак! Нет, вы скажите, я дурак? Вот и я говорю. И чего мне не хватало? Все у меня было. Молочное мне принесли прямо с молокозавода, свеженькое; с мясокомбината самые лучшие колбасы, свинина, буженина с ветчиной только высшего сорта. Что еще человеку надо? А скажите, вернуться можно? Говорят, в Вене сидят, и их не пускают. Нет, пропало, теперь не пустят. Ведь вы тоже хотите вернуться, нет, нет, не говорите, я знаю, что хотите. Все хотят. Да что теперь говорить, пропало...

\* \* \*

Когда я вселился в новую квартиру в новом доме, я захотел узнать свой адрес. На доме никаких обозначений не было, на соседних домах тоже. Соседи адреса не знали. Я пошел на почту, где мне сообщили трехзначный номер моего дома. Но этого мне было мало, хотелось узнать и название улицы или квартала. На почте заспорили, улица названия не имела, а по поводу наименования квартала возникли разногласия. Одни говорили, что это шхунат\* Эшкол, другие — шхунат Сапир, третьи — шхунат Бен-Гурион. С тех пор прошло четыре года. Названия наша шхуна до сих пор не имеет, на домах по-прежнему нет никаких обозна-

---

\* Шхуна — квартал (иврит).

чений. Я пошел с претензией в ирию\*, и там служащие заспорили о названии шхуны. Одни кричали, что это шхунат Эшкол, другие возражали и настаивали на том, что шхунат Эшкол находится в другом конце города, а я живу в шхунат Сапир, третьи утверждали, что это шхунат Бен-Гурион. На шум вышел мэр и, узнав предмет спора, спросил меня: "Вода у вас есть? Есть. Газ идет? Идет. Мусор вывозят вовремя? Да. Так чем же вы недовольны?" "Ничем", — ответил я и вышел вон.

\* \* \*

Ищу в Хайфе железнодорожный вокзал. Из десяти спрошенных старожилов никто не знает, а один не знал, что такое железная дорога, и сомневался, что таковая в Израиле существует. Наконец один старик вроде знает, но не говорит где, а спрашивает:

— А зачем тебе вокзал?

— В Иерусалим хочу поехать.

— А зачем тебе в Иерусалим?

— Простите, но ваше какое дело?

— Вот я, например, — начинает старик, не дослышав мой вопрос. — Я приехал в Израиль сорок лет назад. Сошел в Хайфе с парохода и с тех пор только квартиру сменил.

— И я ни разу не был в Иерусалиме, — тихо добавил старик.

— И в Тель-Авиве не был, — продолжал он громче. Голос его креп.

— И не хочу! Не надо мне это! — кричал уже старик.

— Я простой человек. Я хочу спокойно жить. Зачем тебе в Иерусалим? Друзей навестить? А что, ты в Хайфе себе друзей найти не можешь? Зачем вы ездите? Зачем не хотите спокойно жить? У меня около дома лавочка, я всегда в ней продукты покупаю. Напротив синагога. Туда я хожу по субботам. И еще свою работу я знаю. А больше я никуда не езжу. Не знаю я, где вокзал, — орал старик. — Не знаю и знать не хочу! Не надо мне это, я простой человек, я хочу спокойно жить. Оставьте меня в покое с вашими вокзалами, я не знаю и знать не хочу...

---

\* Ирия — муниципалитет (иврит).

И было — в день смерти Бен-Гуриона. Подходит один знакомый — человек интеллигентный, и спрашивает: “Что слышно?” Я и отвечаю: “Бен-Гурион умер, только что сообщили по радио”. Он задумывается на секунду и говорит: “А зачем ты мне это сообщаем?” “Но ты же сам спросил, что слышно?” “Так я не про это, я вообще, все ли в порядке, а ты про Бен-Гуриона. Ты пойми, мне про это не надо знать, то есть не в том смысле, что я против Бен-Гуриона, я не против, просто меня они все не касаются, я простой человек и не знаю и не хочу знать, кто такой Бен-Гурион, пусть ему земля пухом будет. А ты: Бен-Гурион умер, Бен-Гурион умер”.

*Амрам (псевд.) — инженер-экономист, автор ряда статей, опубликованных в израильской русскоязычной печати и частично собранных в книге “Статьи и памфлеты” (Маоз, Тель-Авив, 1979).*

## КНИГОТОВАРИЩЕСТВО ”МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ”

*выпустило в свет книгу*

### **Эдуарда Кузнецова “Мордовский марафон”**

*Автор книги — советский политзаключенный, один из двух главных обвиняемых по “самолетному делу”. Его “мордовский марафон” неожиданно и счастливо закончился на наших глазах прибытием в аэропорт Лод. Книга покинула Большую Зону задолго до автора. Она составлена из писем, документов, художественных произведений, созданных в лагере, но говорится в ней не только о лагерных делах. На фоне лагерной литературы эта книга выделяется глубиной нравственной проблематики, остротой сюжетных конфликтов и беспощадной писательской зоркостью. Книга иллюстрирована Борисом Пэнсоном.*

*Цена — 200 лир (для заграницы — 10 долларов).*

*Заказы принимаются по адресу:*

*“Москва—Иерусалим”, п/я 7045, Рамат-Ган  
Израиль*

*Чеки выписывать на имя: Фонд “Москва—Иерусалим”*

## ПАМЯТИ МИХАИЛА ЛИХТА

7 августа 1979 года в Цфате умер Михаил Лихт. Ему было 48 лет. Теперь, охватывая взглядом его жизненный путь от начала до конца, можно видеть, что главным в нем были необыкновенная доброта и благожелательность к людям. Редкие сами по себе эти качества еще реже встречаются в сочетании с разносторонней одаренностью, которая обычно делает людей самодостаточными. Лихт был и богато одаренным и невероятно добрым человеком. Это определило характер его профессиональных и непрофессиональных занятий, его место в жизни, на земле и в нашей (российской алии) истории.

Действительно, почему математик, область профессиональных применений которого практически неограничена, выбирает такую трудную, не сулящую быстрых результатов задачу как моделирование сердечной деятельности? Почему человек, не используя многочисленные возможности развития себя как профессионала, занимается разработкой проблем других? Почему, помогая, он не делит людей на сильных и слабых, нужных и ненужных, приятных и неприятных?

Только потому, что он не мог растратить до конца своей доброты, — запасы ее были неисчерпаемы. Они рождались вновь и вновь, и это, пожалуй, отличало его среди всех нас. Смолоду он был беспечным сорванцом, почти хулиганом. С возрастом его безоглядность проявлялась только в мышлении. Он бросился на математическую задачу, как когда-то бросался в драку — безоглядно и рискованно.

Удивительной была его последовательность во всех делах и поступках. Он был человеком цельным, и его дела не отличались от его замыслов. Отсюда его подкупающая искренность и честность, его огромное человеческое обаяние.

Он стал организатором и научным руководителем созданного в Цфате Центра научных исследований. Центр был делом последних трех лет его жизни. Цфатский Центр виделся ему как научный городок, который положит начало новым формам заселения Галилеи. Он полагал, что будущее страны прямо и непосредственно зависит от ее научного и технического развития и спешил сделать все, что было в его силах, ради этого будущего.

Лихт был не только организатором — он был душой Цфатского проекта. Его искренний идеализм, личное глубоко эмоциональное отношение к, казалось бы, отвлеченным и далеким от повседневной жизни целям привлекали к делу людей, готовых, как и он, свою профессиональную работу делать в условиях, наиболее соответствующих потребностям страны. Конечно, он был фантазер, но кто способен что-то реальное создать, кроме фантазеров?

Его любили. А он, подходя к человеку, заранее знал, что у того всегда можно найти что-то хорошее и никогда ни к кому не мог отнестись безусловно плохо. Даже очень хорошее знание людей не могло его озлобить.

Из Экклесиаста он взял только одну половину поучения: "Время сеять..." И он сеял без конца, никогда не признаваясь в том, что сам не надеялся собрать жатву.

Он работал, прикованный цепью. Болезнь — цепь, которую он замечал, но отказывался признать ее власть над собой. Чужая душа — потемки. Но трудно себе представить, что Михаил Лихт, профессионально занимаясь проблемой, близкой к его собственной болезни, общаясь с врачами, обсуждая с ними все ее аспекты, читая литературу, — не отдавал бы себе отчета в своем состоянии. Понимал, конечно, знал все о себе, но продолжал заботиться больше о других. Как обычно — сапожник без сапог, потому что свои сапоги — в последнюю очередь. Трагедия или счастье? Как для кого. А скорее всего, и то, и другое — и для него, и для всех нас, кто знал его.

Для каждого человека есть цена расплаты за свои поступки, чувства, мысли, и плата эта — жизнь. Он платил дорого, не скупился и надолго этого хватить не могло. Хотя и отпущено было немало.

Все три года здесь он жил, все явственнее ощущая глубокую связь с этой землей, с ее историей. Он был человеком жизнерадостным, легким в общении, склонным к юмору. Но его глубинное мироощущение в предчувствии близкой смерти было трагическим. Он видел себя в бесчисленном ряду поколений своих предков на пути к вечной обители в этой земле. Он и написал свой реквием.

"Из белого камня вздымаются жилища на склонах Иудейских гор, —  
Но нет тут иных камней, кроме как с могил моих предков!

Леса, и злаки, и сладкие плоды полнятся соками этой древней земли,  
Но соки этой земли — это в прошлом кровь моих предков!

По следам незапамятных веков вы роете этот культурный слой —  
Но откуда здесь культурный слой? —

Это прах моих предков!

Ночное небо набухает светом.

Вот уже видны горы. Внизу мрак долины.

Сейчас солнце придет сюда и осветит этот мир и меня, смотрящего  
вокруг, гостя на миг, гостя на пути к обители на века".

И вот — "приложился к народу своему".

Мы не беремся судить о том, как должен был уходить от своей болезни или бороться с ней Миша Лихт. Он был свободен и жил по своей воле, по своему пониманию. Взлет последних трех лет его жизни прекрасен. Он умер в сознании. Будем верить, что боль до последней минуты не заслонила от него счастья этого взлета.

*ДА СНИЗОЙДУТ С НЕБЕС МИР ВЕЛИКИЙ И ЖИЗНЬ  
ДЛЯ ВСЕГО ИЗРАИЛЯ. ВОЗГЛАСИТЕ: АМИНЬ!*

ДРУЗЬЯ

## EXIT

Трупы увозили по утрам. Их укладывали в кузов открытого грузовика в тех же носилках, в которых выносили из дверей приемного отделения, но я ни разу не видел, когда носилки возвращались обратно. Трупы, завернутые в простыни, почему-то напоминали о разбитых гипсовых статуях, а простыни на грязно-зеленых носилках казались белыми. Простыни скорее всего возвращались назад вместе с носилками.

Нянечки собирались по четыре, по пять: трупы были тяжелые, и их нужно было высоко поднимать. Одна из них взбиралась в кузов и тащила носилки за ручки. Она двигалась задом и обычно теряла шлепанцы. Нянечки иногда ссорились, иногда перешучивались, иногда молча делали эту свою работу. Потом та, что была наверху, закрывала трупы брезентом, и нянечки уходили. Обычно машина еще некоторое время стояла, пока из приемного отделения выходил лысоватый шофер с какой-то тетрадкой в руках. Он закрывал борт, подтягивал брюки на выступающий живот и поднимался в кабину. Иногда, становясь на ступеньку, он заглядывал в кузов, а иногда нет. Потом машина уезжала.

Я знал время, когда обычно увозят трупы, и если я в это время уже не спал, то выглядывал из окна палаты. С третьего этажа все было хорошо видно, и если окно было открыто, то и хорошо слышно, о чем говорят нянечки. Иногда я не знал ничего о тех, кого увозили, но иногда больничные слухи доходили вечером до нас. Тогда я смотрел сверху и думал, какой из трех-четырех белых свертков содержит того, чью смерть мы обсуждали вчера. Обычно угадать было трудно, потому что эти свертки мало чем отличались один от другого. Иногда это было угадать легко, как в случае с парнем, которого зарезал собственный отец. Парень

умер на операции, и вся больница была полна слухами о нем. Он был большим, и это было заметно по свертку среди других. Это было заметно и потому, что нянечки поднимали его с особенным трудом. Мне показалось, что они его поднимали и с некоторой торжественностью, но, может быть, последнее мне просто показалось. Я смотрел на свертки и пытался представить себе этого отца в пьяной ярости или в пьяном отчаянии. Но почему-то перед глазами возникал суровый Сатурн, знающий за собой право отнять то, что дал. Это плохо вязалось с тем, что он загнал сыну нож в спину. Но я все равно видел его, молчаливо возвышающимся среди остервенелых милицейских шавок. Каждый, и даже я сам, может быть высшим судьей в своем деле, если только он готов платить за это право своей жизнью. Но не многие пользуются этим.

Машина развернулась в тесном дворе и снова остановилась у двери приемного отделения. Потом оттуда вышел какой-то мужчина в мятом халате, схваченном сзади на длинные завязки, и тоже поднялся в кабину. Машина слегка качнулась под его весом. Шофер дал газ, и они уехали.

Он должен был ехать в Италию.

Когда он пришел в сознание, за ширмой истошно стонала какая-то бабка, а бровастый старик, лежащий рядом, непрерывно испражнялся в кровать. Болело в груди, особенно когда он пытался говорить. Столпившиеся над ним мужчины и женщины в белом о чем-то ему говорили. Он понял, что они его расспрашивают о чем-то, и постарался им объяснить про Италию. Потом ему делали уколы, что-то вливали в вены и ставили клизму. Потом утихла бабка, но начал кричать мужской голос. Как-то из-за ширмы выкатили носилки с человеком, завернутым с головой в простыни. Ему казалось, что потом он видел много таких носилок. Затем его переложили на что-то и покатали. Потом его подняли на простыне и переложили на кровать. Наконец он уснул, а когда проснулся, то было светло, и пожилая женщина с тазом и чайником в руках уговаривала его умыться. Она не дала ему подняться, а он тер мокрой рукой лицо и глаза, а женщина приговаривала:

— Во, як кошечка лапкой.

В палате были еще люди. Они тоже умывались в неудобных позах.

Он должен был ехать в Италию. Это было срочно, иначе бы его туда ни за что не пустили. Навалилась куча хлопот и бумаг. Он писал, заполнял, исправлял. Он все время чувствовал на себе взгляды сотрудников, иногда недобрые, иногда завистливые, но старался все делать как всегда, как будто ничего не случилось. Больше всего он опасался конфиденциальных разговоров с евреями, но от них было очень трудно уклониться. Наконец он должен был выехать в Москву.

Он старался, чтобы его понял молодой врач, пришедший на обход. Врач сидел на краю кровати. Перед и рукава его халата были не очень чистые. Он измерил давление, слушал сердце и легкие и все время просил его успокоиться. Наконец он поднялся и сказал:

— Режим строго постельный. Лежать только на спине. Руками и ногами двигать можно.

Когда врач ушел, он, несмотря на боль в груди, начал рассказывать соседу про поездку в Италию.

После обеда он начал хрипеть. Сначала в палате решили, что он просто уснул. Но потом кто-то сказал, что для рыжего он стал слишком бледным. Потом долго не могли вызвать врача в палату. Потом его снова увезли в реанимацию.

Машина приехала за трупами, когда я был в туалете. Кроме меня, к окну подошел молодой высокий парень с двумя стальными зубами.

— Поехал в Италию, — сказал он с недоброй усмешкой, когда машина тронулась. В этот раз нельзя было ошибиться, потому что увозили только один труп.

Нежный мальчишка лет двадцати с глазами, глубоко запавшими в темные ямы. у него была слишком тонкая шея. Может, он был высоким (если можно верно судить о человеке, лежащем на носилках). Я видел, как две нянечки, непринужденно болтая (такой он был легкий!), переносили его из общей терапии в хирургию. Я подумал, что он умрет. Я вспомнил Вулича и подумал, что все это чушь. Но когда я опять посмотрел на его “какие-то” глаза, мысль о смерти снова вернулась.

Вечером возле лифта одна нянечка сказала другой:

— Того що звэрху в хырургыю. Помэр. До опэрации. Такой тонэнький. Маты на нызу. Рвэ волосья.

Я утром не увидел машины. Может быть, в этот день трупы забрали в другое время. Я смотрел вниз. Во дворе бродили одичавшие голуби. Сизый дрался с рыжим. Они наскакивали друг на друга плечом, и время от времени какой-нибудь из них невысоко взлетал. Над баллоном с кислородом возился незнакомый мужчина в спецовке и кепке.

Я мысленно наполнил лицо умершего парня здоровой кровью и оживил глаза. Глаза были голубые, и под густыми черными бровями они блестели умно и задорно. Я попробовал посмотреть на него глазами матери. Я бы тоже рвал волосы.

Может, он у нее был не один.

Сорок метров коридора, туда и обратно, почти двадцать дней. Я привык к тому, что перед открытой дверью реанимации стоит кровать больного с детской фамилией Мальчик. Иногда, когда ему было не очень плохо, на его лице появлялась слабая улыбка. И хотя ему было больше сорока, лицо его становилось детским, немного испуганным и немного виноватым, и я думал о нем: "Мальчик!" Это было нелепо: "Товарищ Мальчик!". Он мог давно сменить свою фамилию, например, на Мальчиков, или Мальчинский, или, наконец, просто Иванов, но он не сделал это, и мне было жаль, что я его не знал раньше, в прежней жизни. О нем говорили, что он токарь, и что он лежит здесь полтора месяца, и что он уже восемь раз умирал. Трижды в день к нему приходила его жена. Она была полная брюнетка, казалась грубой и вульгарной, и было неожиданно, что больной расцветает ей навстречу. Даже когда ему было плохо. И было что-то несоответствующее ее виду в том, как она склонялась над ним и как она, смущаясь, что-то тихо говорила ему.

Она была здесь своей, потому что она ходила сюда уже давно и по три раза каждый день. Она все уже знала сама, с нянечками и сестрами была на ты, и с ней здоровались даже все доценты. Она хлопотала над мужем, сновала с судном или уткой, что-то мыла, меняла простыни и всегда деловито и с улыбкой. Плакала она только в коридоре. Особенно когда ее оттесняли от мужа встревоженные врачи и сестры. Иногда в окне я видел, как она плакала в скверике напротив больницы, ожидая, когда будут впускать посетителей.

Врачи уже сделали все, что умели и знали. Все консультанты

уже давно вынесли Мальчику смертный приговор. Никто не знал, что еще стучит у него в груди. Но каждый раз врачи снова бросались к дефибрилятору, и снова над ним нависали капельницы, и снова он оживал, пережив очередную смерть, и снова, когда ему становилось лучше, он улыбался немного испуганно и немного виновато.

Мальчик умер ночью. Я не знал об этом. Я, как обычно, проводив трупы, вышел из палаты в коридор, чтобы пройти в туалет. Я увидел, что кровать Мальчика пуста и спросил о нем у сестры. Она сказала, что он умер, что это было ночью и что его уже не могли спасти.

— Может, и так. Кому это теперь нужно?

Жена Мальчика больше не пришла.

Мне казалось, что я один наблюдаю за выносом трупов, и я никому не говорил об этом. Но старик из десятой палаты сказал мне как-то вечером:

— Я давно вижу, как вы по утрам смотрите вниз.

У него были совершенно седые волосы, густые белые брови и такие же усы. Цвет лица — белое с синевой в некоторых местах. Ввалившиеся глаза. И, кроме того, он волочил ноги. На вид ему было лет восемьдесят, при которых он неплохо сохранился. Оказалось, что ему шестьдесят. Инфаркт был третий, и все три тяжелые. Он говорил об этом с большими паузами между фразами. Он хорошо знал, как начинает мельтешить в глазах, как раздувается переполненный живот, как боль словно колом разворачивает грудь и как из-под ложечки выползает густой страх.

— В этот раз я уже не так испугался...

— Боль — это тоже не сладко, — возразил я.

— Боль забывается быстрее.

— Не знаю, — сказал я.

Больше мы в тот вечер не говорили.

Утром мы снова смотрели вниз, и там шла обычная возня.

Нянечки почему-то сильно ссорились и сильно дергали носилки. Одна из них громко матюкалась. Я как-то подсмотрел, как молоденькие сестры с веселым гиканьем выкатывали носилки с трупом. Почему-то мне это припомнилось именно сейчас. Старик из десятой палаты тоже припоминал что-то свое. Но мы не разговаривали.

## ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

### 1. ПРЕДИСЛОВИЕ

#### Принц и нищий

В этом, семьдесят шестом, году, мне минет пятьдесят. Главным моим делом всегда была математика. Я ее изучал, с удовольствием преподавал, организовывал коллективную работу. Закончив одну статью, я сразу переходил ко второй, поставив последнюю точку в книге, начинал размышлять о следующей.

И вот поезд, единственное назначение которого: "вперед по рельсам", вдруг остановился. Я ничего не организовываю, да никто меня об этом и не просит, преподаю по инерции, а главное, мне не хочется решать задачи, доказывать теоремы.

Причина? Говоря коротко, я испытываю притеснения в работе, потому что я еврей, окружающие меня люди, евреи, испытывают притеснения.

Вот рабочий энтузиазм и уступил место горестному раздумью.

Стоит ли продолжать? Имеют ли мои личные заботы общий интерес?

Размышляя, я часто разговариваю с воображаемым собеседником.

Ко мне спешит мой критик. В руке газета.

Критик: Тебя притесняют? Тебе сказали: "Еврей, пошел вон"?

*Григорий Фрейман*

**ОКАЗЫВАЕТСЯ,  
Я ЕВРЕЙ**

*Перепечатывается  
из журнала  
"Евреи в СССР"*

Я. Да нет, так впрямую не говорили.

К. Все ясно: тебе так кажется. Но ведь главное — факты? Итак, ты пошел на войну сразу же после окончания средней школы?

Я. В сорок третьем году, семнадцати лет.

К. После войны тебе была предоставлена возможность учиться?

Я. Твой вопрос так странно сформулирован. Могло ли быть иначе?

К. И ты окончил вуз в 1950 году?

Я. В сорок девятом.

К. Через семь лет защитил кандидатскую диссертацию?

Я. Да, в 1956 году.

К. А в 1965 году — докторскую?

Я. Да. Скажи же, наконец, к чему ты клонишь?

Вместо ответа он развернул газету\*. Читаю.

“Я хочу заявить во весь голос: в нашей социалистической стране никогда не было и не может быть притеснения каких-либо национальностей вообще и в частности еврейской. Всем гражданам нашей многонациональной страны закон гарантирует равные права.

Моя жизнь может служить примером того, как в нашей стране “притесняют” евреев. После окончания средней школы я пошел на фронт. После войны мне была предоставлена возможность учиться. В 1950 году я окончил высшее учебное заведение, через семь лет защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 году — докторскую. Кто смеет говорить, что меня “притесняют”?”

Я перевел взгляд на подпись: В. С. Этлис, доктор химических наук, профессор.

Я погрузился в размышления: огорчения мои и заботы вдруг сплелись в бешено вращающемся вихре, быстро удалявшемся от незыблемой тверди апробированных формулировок доктора Этлиса. Противоположные полюса наших высказываний прогалопировали, уводя нас в разные стороны. Я очутился в лесу прожитой жизни, где в ночи забвения мерцали светлячки воспоминаний, а к горизонту Проблемы вела столь знакомая дорога познания. Я ступил на эту дорогу, и чувства предубеждения и пристрастия меня оставили: помни, что какой-то кусочек грядущего солнца истины принадлежит и ему, твоему противнику в споре.

---

\* “Литературная газета”, 18 февраля 1976 года, № 7.

## О пользе письменности

— Какие именно неприятности происходят с тобой и другими евреями? — спросит иностранец.

— Неприятности с работой: меня сняли с должности заведующего кафедрой. Неприятности с наукой: в ВАКе отклонили диссертацию моего ученика, возникли трудности с публикациями, участием в конференциях, о научных поездках за границу не приходится и мечтать... Евреев не принимают во многие вузы, трудно найти подходящую работу.

— Почему же ты не протестуешь? Какие-то люди поступают несправедливо — апеллируй к их начальству; есть законы против расовой дискриминации — обратись в суд; не согласен с газетным выступлением Этлиса, выступи в газете сам. Будут произведены расследования, факты станут достоянием общественности — и восторжествуют истина и справедливость.

Я рассердился.

— Вы — как слепой в чужой комнате. В вуз не поступают потому, что не проходят по конкурсу, на работу не принимают потому, что нет места, диссертация не утверждается потому, что качество ее плохое. Вас высмеют, если вы станете утверждать, что национальность претендента могла иметь какое бы то ни было значение. Ни один суд не примет к расследованию дело о национальных притеснениях, ибо нет у нас таковых. И в газету вы тоже не пробьетесь.

— А свобода слова?

— Конституцией она гарантирована, но не можете же вы говорить, что есть то, чего не должно быть. Этого вам никто не разрешит. Горести мои возрастают стократ, потому что они — как стыдная болезнь, я не могу сказать о них вслух. Сделать это — поставить под удар всю свою установившуюся налаженную жизнь. Работа, наука, семья — все придет в расстройство. Свобода и жизнь окажутся под угрозой. Заговорить, покинуть сонм молчаливых, восстать против общества, помилуйте, я хочу жить спокойно, спокойно работать, у меня столько теорем накопилось, надо их доказывать, помилуйте, я трус, я просто боюсь.

Долгие часы провел я в подобных размышлениях. Как действовать, что предпринять? Наконец я принял решение — записать опыт моей жизни. Письменность неоднократно оказывала неоценимую услугу исторической науке и способствовала смягчению нравов. Быть может, и сейчас...

## II. УЧЕБА (ПРОШЛОЕ...)

### Документальная поэма

После окончания университета я начал работать в НИИ, а мне хотелось заниматься математикой. Работа была изнуряющая, ненормированная, к вечеру соображалось плохо. Я стал ложиться спать в восемь вечера, вставать в три-четыре часа утра. В итоге — четыре часа занятий математикой на свежую голову. И так — каждый день на протяжении полутора лет.

Время это — от разоблачения космополитов до пресловутых врачей-убийц — было для меня, еврея, крайне трудным. Вот документы, судите сами.

\* \* \*

Н/№ п/260/ц, 1 августа 1951 г.

Ректору Московского государственного университета академику Петровскому И. Г.

Институт им. Н. Е. Жуковского не возражает против поступления в заочную аспирантуру МГУ сотрудника института тов. Фреймана Г. А.

Заместитель начальника института Свищев Г. П.

\* \* \*

Тов. Фрейман

Решением отборочной комиссии Вам отказано держать вступительные экзамены из-за отсутствия стажа работы. Необходимо проработать три года.

Зам. директора Лидский

\* \* \*

Ректору МГУ акад. И. Г. Петровскому

От сотрудника ЦАГИ Фреймана Г. А.

Заявление

Прошу разрешить мне сдачу кандидатского минимума по математике при механико-математическом факультете.

16/1У—1952 г.

Г. А. Фрейман

Резолюции:

В Институте механики и математики может быть организована сдача экзаменов по математике. Прошу дать разрешение на прием экзаменов.

А. Колмогоров

Рекомендую поступить в заочную аспирантуру.

15/У-52 г.

И. Петровский

\* \* \*

Ректору МГУ акад. И. Г. Петровскому

От сотрудника ЦАГИ Фреймана Г. А.

Заявление

Прошу зачислить меня в число аспирантов механико-математического факультета по кафедре теории чисел.

12/У1-1952 г.

Г. Фрейман

\* \* \*

Казанский авиационный институт, 8.УШ.1952 г., № 2425.

Тов. Фрейману Г. А.

Возвращаем Ваши документы, т. к. решением конкурсной комиссии Казанского авиационного института Ваша кандидатура не прошла.

Зам. директора доцент П. Яковлев

\* \* \*

Выписка из протокола № 4 заседания отборочной комиссии НИИ механики и математики МГУ от 16 августа 1952 г.

**Слушали:**

Т. Фрейман Григорий Абелевич, 1926 г. рождения, еврей, чл. ВКП/б/. Окончил МГУ в 1949 году. Математик. Работает в ЦАГИ инж. 3 года. Диплом без отл. (очная аспирантура).

**Постановили:**

Рекомендовать поступить в аспирантуру ЦАГИ.

Выписка верна

Секретарь ин-та: Успенская

\* \* \*

Ректору МГУ акад. И. Г. Петровскому

от Фреймана Г. А.

Заявление

Я окончил в 1949 году мехмат МГУ и был направлен на работу в ЦАГИ. По образованию я математик. В этом году, после трех лет работы в ЦАГИ, я подал заявление в аспирантуру МГУ по специальности математика. Отборочная комиссия постановила: "Рекомендовать поступить в аспирантуру ЦАГИ". В ЦАГИ имеется аспирантура только по механике. Поскольку я получил специальное математическое образование, не прекращал все эти годы научной работы в области математики и желаю в дальнейшем продолжать научную работу в области математики, прошу вновь рассмотреть мое заявление и допустить меня к приемным экзаменам в аспирантуру.

20/УШ—1952 г.

Г. Фрейман

Резолюция: Не вижу оснований отменить решение комиссии.

20/УШ—52.

И. Петровский

\* \* \*

Директору Казанского педагогического института

от Фреймана Г. А.

Заявление

Прошу допустить меня к экзаменам в аспирантуру по специальности математика.

20/УШ—52 г.

Г. Фрейман

\* \* \*

Резолюция:

Отказать как неимеющему стажа работы в школе.

25/УШ

Подпись неразборчива.

\* \* \*

Казанский госуниверситет им. В. И. Ленина  
30 августа 1952 г.

Тов. Фрейман Г. А.,

Вы допущены к вступительным экзаменам в аспирантуру в КГУ. Вступительные экзамены начнутся с первого сентября 1952 года.

Зав. аспирантурой Харламова

\* \* \*

912-3/11121, 29/X-52 г.

Ректору Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина проф. Д. Я. Мартынову.

Главное управление университетов не имеет возможности зачислить в аспирантуру тов. Фреймана Г. А. в связи с неутверждением его комиссией по приему в аспирантуру.

Зам. начальника Главного управления  
университетов С. Семин

\* \* \*

Зам. начальника Главного управления университетов  
Семину  
от Фреймана Г. А.

#### Заявление

В письме, направленном Вами ректору КГУ т. Мартынову, говорится, что я не зачислен в аспирантуру "в связи с неутверждением комиссией по приему в аспирантуру". Так как все приемные экзамены были мною сданы с оценкой "отлично" и я был зачислен в аспирантуру комиссией КГУ, то прошу сообщить мне причину неутверждения моей кандидатуры министерской комиссией.

19/X1-52 г.

Г. Фрейман

Примечание: ответа не последовало. Г. Ф.

Заместителю министра высшего образования Прокофьеву М. А.  
От Фреймана Г. А.

### Заявление

В сентябре 1952 года я сдал вступительные экзамены в аспирантуру Казанского университета, и моя кандидатура была утверждена Университетской комиссией. Однако в министерстве моя кандидатура не была утверждена. Уже два месяца, как я не могу добиться причины отказа. По словам т. Семина и т. Хитрова, который непосредственно занимается моим делом, никаких документов, фиксирующих причину отклонения моей кандидатуры, не имеется. Ясно, что в этом случае отказ теряет свою законную силу.

Считаю, что никаких причин для отказа нет:

- 1) все вступительные экзамены были мною сданы с оценкой "отлично";
- 2) у меня имеется семь печатных научных работ;
- 3) я имею требуемый для поступления в аспирантуру трех-летний производственный стаж;
- 4) с места работы мною получены положительные производственная и партийная характеристики;
- 5) следует наконец учесть, что я являюсь членом КПСС и участником Отечественной войны.

Рассмотрение моего дела тянется вот уже три месяца. Очень прошу Вас лично вмешаться, установить причину неутверждения моей кандидатуры министерством, пресечь бюрократическое отношение к рассмотрению моего дела и наконец утвердить мою кандидатуру.

25/ХП—52 г.

Г. Фрейман

\* \* \*

Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина высылает выписку из приказа о зачислении Вас в аспирантуру университета.

Срок прибытия — 20 января 1953 года.

Приложение: выписка из приказа КГУ.

Проректор по научной работе  
профессор М. В. Марков

Сейчас я удивляюсь тогдашней моей настойчивости, корни которой — глубокое убеждение в правильности всего того, что происходит: любое отклонение мне представлялось эпизодическим и случайным.

А сколько труда, энергии и времени отняла вся эта канитель! Для получения любого сопроводительного письма, отношения нужно было тратить дни и недели, записываться на прием заранее и часами торчать в очередях.

А характеристики! Мой начальник Юра Васильев был человек жесткий, нещадно эксплуатировал своих сотрудников. Отпускать он меня не хотел, и вот, в результате коллективных, казуистических обсуждений в мои характеристики включались такие пункты: "Следует, однако, заметить, что тов. Фрейман Г. А. не всегда добросовестно относится к поручаемой ему работе. К работам, которые ему почему-либо не нравятся, относится, независимо от их важности, формально, не проявляя нужной инициативы"... "Выражает настойчивое желание поступить в аспирантуру по чистой математике, что наносит ущерб основной работе".

А разговор с Петровским!

Ректор МГУ Иван Герасимович Петровский сам был математик.

Летом 1943 года он был деканом мехмата. Впервые я встретился с ним, когда переводился из Казанского университета в МГУ. Он произвел самое приятное впечатление: разговаривал неторопливо, интересовался собеседником, его делами и планами. Был он тогда худощав, интеллигентен, тонок, понимающ.

И вот теперь Петровский согласился меня выслушать после того, как мой учитель Александр Осипович Гельфонд отрекомендовал меня как подающего надежды юношу.

Принял он меня в своем большом кабинете в старом здании МГУ на Моховой.

Я рассказал о своих злоключениях, о большом желании заниматься математикой.

Петровский слушал внимательно и, казалось, доброжелательно.

— Теперь, — сказал он, — я уже не могу изменить решение приемной комиссии...

— Если не в очную, то хотя бы в заочную, — перебил я его.

— Нет, это тоже не удастся. Вот что, — сказал он, подумав. — Вам надо бы сдать кандидатские экзамены.

Я увидел, что он ни в чем не идет мне навстречу, этот, казалось бы, всемогущий человек, приятель и однокурсник моего учителя, а главное, математик, ученый, который должен бы понимать мое острое желание заниматься обоими нами любимым делом.

— Да что же это, — возопил я с горечью, — я иду влево, вы меня посылаете направо, я — вправо, а вы меня посылаете налево. Куда же мне деваться?

Он не понял, о чем я говорю, поднял на меня вопросительный взгляд.

— Вы советуете сдавать кандидатские экзамены, отказывая в поступлении в аспирантуру. Посмотрите, что вы написали, когда я просил о сдаче кандидатского минимума.

И я положил перед ним мою просьбу разрешить сдачу кандидатского минимума с его резолюцией: "Рекомендую поступить в заочную аспирантуру. 15/У—52 г. И. Петровский".

Он прочел и ничего не сказал. Сидел неподвижно и не говорил ни слова. Я тоже молчал, вначале от волнения, а потом, когда пришел в себя, напряженно ждал, что же он все-таки скажет. Но он сидел, сидел неподвижно и молчал. Продолжалось это не менее трех минут, целую вечность. Затем, повинувшись какому-то безотчетному импульсу, не желая, чтобы это молчаливое признание прервалось жалким лицемерным лепетом, а может быть, повинувшись чувству жалости, я встал, взял бумажку, лежавшую перед ним, свернул ее, положил в карман и молча вышел. А он так и сидел, не шевелясь.

Я увиделся с ним еще один раз ровно через десять лет, когда пришел с просьбой о выделении общежития при МГУ. Это был совсем другой человек. Он пополнил, постарел, а главное, был какой-то издерганный, нервный, невнимательный. Собеседника он не слушал, в дело не вникал. Едва уловив смысл просьбы, он тут же отказал, резко, грубо, безапелляционно, без какого бы то ни было чувства общения, не видя человека, лихорадочно думая о чем-то своем.

И наконец казанская аспирантура...

Когда пришло письмо из министерства с отказом, я был поражен, но была твердая уверенность, что правоту свою докажу. Мне не могли отказать, вот и все.

Я явился в министерство, где меня принял Хитров, работник отдела кадров. Был он человек пожилой, седоволосый, с воен-

ной выправкой. Особой недоброжелательности, неприязни по отношению ко мне он не выказывал.

— Комиссия вас не утвердила, — сказал он, — в приеме отказано.

Это было все, что удалось из него выжать как в первое, так и в последующие посещения. У нас есть решение, но нет мотивировок, нет протоколов обсуждения, нет даже моих документов, все отослано. Следует возвращаться в Казань, дело решенное.

— Дело будет пересмотрено, — сказал я убежденно, — для отклонения нет никаких оснований.

Он стоял на своем, но понемногу что-то стало предприниматься. Затребовали из Казани личное дело, Хитров несколько раз докладывал обо мне в разных инстанциях. Хотя все оставалось без изменений, однако психологически я начал одолевать Хитрова. Увидев меня, он терял спокойствие, неровным голосом советовал уехать, уверял, что дело безнадежное.

— К о м и с с и я отказала, — говорил он с ударением, — ничего вам не добиться.

Я же был спокоен и уверял: раз дело мое правое, то и решение будет правильное.

Наконец удалось попасть на прием к референту заместителя министра. Выслушал он меня в комнате, где сидело несколько женщин. Я четко, упрямо и громко выложил все свои козыри: сдал все экзамены отлично, конкурса не было, печатные работы и т. д. и т. п. В комнате воцарилась тишина, и женские спины выразительно слушали мое повествование.

— Я вам устрою встречу с Прокофьевым, — сказал референт.

Прокофьев внимательно все выслушал и сказал, что назавтра состоится заседание комиссии, где дело будет пересмотрено в положительном смысле.

Еще через день я пришел к Хитрову.

— Да, пересмотрели дело, — вынесли решение о зачислении, — сказал он растерянным голосом, — я подготовлю приказ. Каким числом вы хотите его датировать?

Было начало января 1953 года, и мы согласились на одиннадцатое, а еще через два дня, тринадцатого января, началось дело “врачей-убийц”, и все вокруг стало совсем мрачным, но меня лично это уже мало коснулось — я был зачислен в аспирантуру, уехал в Казань и начал всерьез заниматься математикой.

### III. УЧЕБА (... И НАСТОЯЩЕЕ)

#### Трудности высшего образования

Не ворошу ли я давно минувшее? Нет. Рассказ актуален: если бы мне пришлось поступать в аспирантуру сейчас, опыт повторился бы.

А как с приемом в вузы? Как раз в период моих злоключений евреев на мехмат МГУ почти не допускали. Потом наступила "оттепель". Новый резкий переход к худшему наступил в семидесятом году, когда принимать евреев на мехмат практически перестали.

На одном собрании, посвященном началу учебного года, Огибалов тогда сказал:

— Наконец-то мы имеем прием, которого давно добивались. Как с другими вузами?

В научно-технических институтах МИФИ и МФТИ всегда существовали резкие ограничения. Ограничения для целых категорий вузов: военные, дипломатические (разумеется), медицинские (кроме далеких периферийных), технические с военным уклоном (авиационные, по электронной технике). Более строгие ограничения для отдельных местностей (Украина, Молдавия, Ленинград). Перечень, конечно, не полон.

Мне могут возразить, что евреи в России отнюдь не погрузились в омут невежества, что евреев с высшим образованием гораздо больше, чем, например, русских, в относительном, разумеется, пересчете, что число студентов-евреев и сейчас очень велико.

Положение это сложилось раньше, когда ограничений было меньше, и теперь быстро изменяется "к лучшему".

В настоящий же момент ограничения существуют и все усиливаются.

Каков же их механизм? Ведь прием документов по национальному признаку не регулируется?

За редкими исключениями. Такая работа связана с секретностью, нежелательным лицам иногда советуют не подавать документов. Тут и высокий балл на экзаменах не гарантирует поступления. Так, Ф. сдал вступительные экзамены в МФТИ лучшим в своем потоке и... не нашел своей фамилии в списке зачисленных. В приемной комиссии висело объявление: "Претензии по вопросу зачисления не принимаются".

Но это еще не самое нечестное. Хуже, когда человек, которого не хотят принять, не получает проходного балла даже при высоком уровне его ответов.

— Странно, ведь профессор, преподаватель — лицо независимое, с высоким чувством профессионального достоинства, с отработанными рабочими критериями. И такой человек сознательно путает карты, жонглирует своими оценками?! Помилуйте, да есть ли врачи, которые сознательно умерщвляют своих больных?

— Насчет врачей я не знаю, а преподаватели, чуждые профессиональной этике, руководствующиеся иными, эгоистическими категориями, существуют.

— Это мнение необходимо очень хорошо обосновать, как и сам факт наличия ограничений.

— С ситуацией в одной области, в математике, я знаком детально. В МГУ мой выпуск — сорок девятого года. Евреев на нашем курсе было не менее четверти. В дальнейшем, в пятидесятые-шестидесятые годы доля эта едва ли часто опускалась ниже одной пятой. На днях я просматривал в МГУ список студентов, перешедших на второй курс мехмата. Я не нашел там н и о д н о й еврейской фамилии. Два года назад на мехмате Ленинградского университета в списке принятых на несколько сот человек я обнаружил не более двух-трех еврейских фамилий. Тенденция четкая и бесспорная. Если когда-нибудь мои размышления станут предметом обсуждения, то пусть мои критики предадут гласности национальный состав мехмата МГУ по годам, хотя бы за послевоенные годы. Это свидетельство неопровержимо. Факты эти имеют общее значение, ибо МГУ, ЛГУ и Новосибирский университет, где также избивают евреев, дают львиную долю общего числа творчески работающих математиков.

— Не мешало бы эти данные проверить детально. Но чем это ты стал заниматься? Своим ли делом? Считаешь какие-то проценты, листаешь какие-то списки, вычитываешь какие-то фамилии. Доказывал бы лучше свои теоремы.

— А человек? Душа живая? — закричал я, возмущившись. — Возьми журнал "Квант", там из номера в номер печатают фамилии школьников, которые решают задачи лучше всех. Делают это объективно, так как Ширшову с компанией еще не удалось полностью овладеть этим журналом. Проследите судьбу

этих ребят. Сколько из них, из тех, кто мог бы составить славу нашей науки, будут конструировать типовые детали в отраслевых конструкторских бюро? И не потеряет ли наша страна, если, отчаявшись, кто-то из этих юношей ее покинет? А наука, что станется с математикой? Растить таланты, создавать научные школы — дело тонкое, требующее многолетних забот и усилий. Это — как лес растить.

Кто рубит лес — увидит пустыню.

### Механизм отклонения

Меня могут спросить: откуда я их взял, эти утверждения о несправедливости на экзаменах, если лично я там не присутствовал?

Первое впечатление сложилось из наслоения словесных свидетельств. Вот несколько примеров.

— Математику сын мой знает весьма порядочно, я за нее не боюсь, а вот физику — хуже, может получить и четверку.

Сын получил по физике двойку.

Здесь можно возразить, что родители о своих детях всегда наилучшего мнения и, возможно, злонамеренности на экзамене не было.

В. сдал оба экзамена по математике на пять, по физике при очень придирчивом экзамене на четыре. По сочинению, написанному без ошибок, получил два. Резолюция: "Вы раскрыли тему патриотизма, а не тему Родины".

Об этом было рассказано так: "... евреев на мехмат не берут, это все так, но уж тут, знаете, слишком, вот В. сдал...". Говорил преподаватель МГУ, русский, и собеседники вовсе не были близкими друзьями.

З. получил первую премию на всесоюзной математической олимпиаде и двойку на конкурсном экзамене по математике.

Почему такое сочетание маловероятно?

Победитель такой олимпиады — первый среди миллионов. Задачи там такие трудные, что отнюдь не каждый профессор решит, и уж не за такое короткое время.

Число примеров я могу умножить, их у меня сотни. Ограничимся пока этими. Что же это за люди, которые ставят эти двойки, эти заниженные оценки? Как они это делают?

Негодяев всегда немного. Честные же люди взирают на них с осуждением и... помалкивают. Как все это делается, я впервые услышал из беседы с Р., который работал в Новосибирском университете. На факультетском вечере с ним стал беседовать по душам его сослуживец, член приемной комиссии. Он отмежевался, он не делал э т о г о. Этим занимались специальные люди, принимавшие экзамены в группах, где и были сосредоточены абитуриенты-евреи.

Моральный аспект этих данных является чрезвычайно острым. Можно ли, делая выводы, опираться лишь на устные сообщения, какими бы бесспорными они ни казались?

В этом году в августе я часто бывал на мехмате, следил за ходом приемных экзаменов и могу поделиться результатами личных наблюдений.

Знакомых, работающих в МГУ, готовящих к поступлению в МГУ, у меня много, околоэкзаменационных разговоров хватает. За сутки до устного экзамена снова коснулся меня слух, что евреев концентрируют в специальных группах. А какова техника заваливания? Экзамен проходит внешне вполне нормально, все очень просто — предлагаются задачи, на порядок более трудные, чем обычно.

Теперь нужно обсудить подробнее, что такое трудная и что такое легкая задача, и как измеряется эта самая трудность?

В чужой области, например, в химии, я вполне мог бы выступить в роли растерянного родителя, отпрыск которого обращается с жалобой: дали слишком трудную задачу. Расстроенный папа идет к секретарю приемной комиссии.

— Трудная задача? — говорит тот, — на то и университет. У нас надо решать трудные задачи.

— Но задача с л и ш к о м трудная, — настаивает родитель, чувствуя себя потерявшимся в тумане. — В школе таких не решали.

— Нет, не была она слишком трудной, — с терпеливым снисхождением к некомпетентности папаши объясняет специалист, — стандартной задача быть не должна, мы ведь не всех принимаем, а лучших.

И папа уходит, не то чтобы довольный, но понимая, что сказать

ему нечего: чтобы измерить человеческие возможности, нужно иметь знания и опыт.

Какова же трудность задач в математике? Можно ее оценить? Нелегко, но можно. Делается это методом экспертных оценок. К примеру, я проэкзаменовал тысячи школьников, участвовал в олимпиадах и проводил олимпиады, составлял конкурсные задачи для приемных экзаменов. И если я разработаю пятибальную шкалу трудности, с которой согласны добросовестные специалисты, и выставляю по этой шкале оценки, то неспециалисты могут им верить.

Как же проходило дело на мехмате? Пока шел устный экзамен по математике, около факультета толпились абитуриенты, тоскующие и любопытные родители. Выходящих сразу обступали, расспрашивали, и мамы, в смятении переспрашивая каждое слово, записывали условия задачи. Сообщу суммарные результаты моих наблюдений, числом более двух десятков.

1. Оценка в половине случаев — выше, чем на письменном экзамене, ни разу — ниже.

2. Степень трудности задач в большинстве случаев — вторая, изредка — 2,5. Более трудных не было.

Теперь об о с о б ы х случаях.

Задачу четвертой степени трудности получил на устном экзамене Рубинштейн. Порешал ее минут пятнадцать, подошел экзаменатор, спросил, не решил ли (!), предложил вторую задачу — промежуточную между третьей и четвертой категорией трудности.

Обе эти задачи получил и Финкельштейн.

Показательны результаты экзамена, учиненного над несколькими выпускниками математической школы № 2, из которой, как правило, на мехмат проходят.

Блестящие отзывы о Юре Соркине я слышал и раньше. Он получил первую премию на всесоюзной математической олимпиаде, не поехал на международную олимпиаду из-за странных административных затруднений. Как вы считаете, может ли чемпионка мира по гимнастике Ольга Корбут не поступить в физкультурный институт из-за неудачного экзамена по физкультуре? Вывод здесь может быть один: Ольгу принять, незадачливых экзаменаторов уволить. И все же Юра по конкурсу не прошел. На устном экзамене он получил три задачи четвертой степени трудности. Одну из них Юра решил (этого достаточно для отличной

оценки). Еще одна из подsunутых ему задач была предложена Югославией на международной олимпиаде.

Не прошли по конкурсу Бескин, Верховский, Илларионов (Шапиро), Липкин, Флейшман. Все их задачи — четвертой степени трудности. Все, кроме Флейшмана, получили и задачу, предложенную Соркину.

Итак, существует о с о б ы й экзамен: “трудные задачи — евреям”.

В особых случаях, как правило, результаты устного экзамена были ниже, чем письменного, и ни разу более высокими, а в общем случае — наоборот.

### “Недоразумение”

Юра Соркин — русский: отец его — еврей лишь наполовину, по паспорту русский, а мать — русская, без подделки.

Однако мальчика посчитали евреем и применили к нему соответствующую процедуру. На факультете знали математика Юрия Исааковича Соркина — отца и сделали должные выводы. Ведь э т о делают люди заинтересованные, работающие “по велению сердца”, с инициативой. Их запись в паспорте не проведешь, они смотрят на фотографии, вслушиваются в звучание отчества и наводят справки.

Когда Юрина мама узнала о результате экзаменов, она пошла на прием к председателю приемной комиссии. Тот не захотел ее видеть. Соркина — женщина энергичная (в прошлом — цирковая актриса), она прорвалась в кабинет и воскликнула:

— Недоразумение! Что же это, произошло недоразумение! Мой сын и не еврей вовсе!

И она объяснила всю его родословную. Профессор побагровел и изгнал ее из кабинета, на ходу объясняя справедливые принципы нашего бытия.

Академик Колмогоров написал личное ходатайство о приеме Соркина, но и оно не помогло.

### Механизм отклонения (продолжение)

Чтобы проверить, как комплектуются экзаменационные группы, я поднялся на четырнадцатый этаж высотного здания МГУ,

где вывешивались материалы приемной комиссии. Здесь меня ожидало разочарование. Списки фамилий отсутствовали, абитуриенты обозначались номерами их экзаменационных карточек! Что делать? Я решил осуществить проверку в другом месте, с аналогичной по слухам практикой. Название вуза и факультета сообщать не буду, расскажу лишь о результатах.

У входа в приемную комиссию — три большие доски со списками абитуриентов, прошедших письменный конкурс по математике, всего одна тысяча сто шестьдесят человек.

Контроль можно было проводить только по звучанию имен и фамилий. Я сделал выписки:

1. Эриванский Юрий Константинович	28
2. Либерман Валентин Исаакович	53
3. Кушнир Валерий Владимирович	53
4. Штерн Ольга Давидовна	28
. . . . .	
35. Конилов Аркадий Бенционович	16
36. Гринбаум Семен Матвеевич	41

Число справа — номер группы. 36 человек из моего списка распределились следующим образом.

по 1 человеку в группе — 8 групп

" 2 — " — 6 "

" 3 — " — 1 "

" 6 — " — 1 "

" 7 — " — 1 "

---

17 групп

Если 36 человек распределить по 60 группам случайным образом, то в группе, как правило, встретится не более одного человека из нашего списка, скопления по два и больше — явления маловероятные. И вот еще — на это я натолкнулся сразу — в двух группах (53 и 28) скопление более густое. Случайность? Я вспомнил, что я математик, и оценил вероятность. Оказалось, что она не превышает  $10^{-19}$ .

Итак, оказалось, что мои 36 человек скомпонованы по группам отнюдь не случайно.

А вот и итог. Из моего списка прошло по конкурсу трое, то есть прошел один еврей из каждых двенадцати, тогда как среди неевреев прошел каждый второй человек.

Каковы же побуждения тех, кто все это осуществляет?

Они не новы. Как это называется, когда социализм предназначается не для всех? В МГУ есть такой математик Ульянов. Во хмелю последиссертационной попойки он говорил вслух:

— Ты парень неплохой, и я против тебя ничего не имею, но мы здесь дома, а вы нам не нужны\*

## 1У. РАБОТА

### Вам нужна работа? Не убедительно

Назначенный начальником вновь созданного ВЦ (Вычислительного центра) Г. начал подбирать кадры и согласовывать кандидатуры с управляющим трестом.

На должности начальников отделов он подобрал десяток человек, среди них два еврея. Управляющий молча просмотрел документы, отодвинул дела претендентов евреев.

— Не подойдет.

— Это хорошие специалисты, кандидаты наук.

— Не убедительно.

— Эти люди нам очень нужны.

— Не убедительно: мы начальников подбираем. Придется брать их на совещания, в Госплан, в Совет Министров. Как я его рядом посажу? У него на роже все написано!

Пример сходного умонастроений. Философ Навский, автор книги "История западноевропейской философии", баллотировался в Академию. Он послал президенту письмо, опровергая злостные слухи о том, что он еврей, и убедительно доказал, что он поляк. Мудрец этот в Академию, однако, не прошел.

А вот что произошло в Калининне с одним директором школы. Он распекал на совете учительницу Никольскую. Социальный уровень: муж ее — филолог, профессор. Она не стерпела и при всем честном народе обозвала директора жидом. Он пошел жаловаться в обком партии, пытался попасть на прием к первому секретарю, но это ему не удалось. Его завернули в област-

---

\* Как тут не вспомнить (у С. А. Степняка-Кравчинского) слова государева министра графа Ментирова:

— К евреям я расположен душевно. Западная граница вам открывается настужь. Сделайте одолжение! Европа к вашим услугам. Там вам место. Там вас любят. Там нужны ваши таланты и способности. А нам зачем они? У нас своих довольно. Нам нужен русский дух.

ной отдел народного образования. В школу прибыла комиссия, и Никольской попеняли за нехороший поступок, а директора... сняли с работы за недостатки в идейно-воспитательной работе. Лишь через полгода ему удалось устроиться учителем где-то в пригороде.

Недавно в одном академическом институте закрыли десять лабораторий, руководителями восьми из которых были евреи. О случайности здесь нет и речи: незадолго перед этим в стенной газете института появилась статья директора, где говорилось, что "кадровая политика администрации будет изменена ввиду большого числа отказов от советского гражданства". Все так, но почему никого не волнует обратная связь, более того, не поменялись ли здесь местами причина и следствие?

Характерная черта последнего времени: раньше щекотливая тема трактовалась иносказательно, теперь все чаще вопрос обсуждается по-деловому.

В НИИ Академии Наук прибыл молодой специалист. Работник отдела кадров ведет его по коридору в научный отдел для знакомства перед оформлением. Разговор во всеулышание:

— Так ты русский?

— Да.

— И отец, и мать, оба русские?

— Оба.

— А жена — русская?

— Да.

— Ну, тогда все в порядке.

Я рассказал о немногих особо забавных случаях, обо всех бесчисленных рядовых не расскажешь. Исчерпывающее исследование — не моя задача. Хотелось лишь занумеровать еще одну грань моего ощущения никому ненужности и собственной изоляции.

### **День Икс и день рождения**

В начале 1972 года я вошел в вагон калининской электрички, прикидывая, за какое время доберусь до моего дома в Тропареве. Выходило — четыре часа. Высокие, вполне московские дома Крюкова и Клина, пустынный, подступающий к самой платформе лесок в Ямуге, раскинувшиеся по обе стороны железнодорожного полотна заснеженные просторы Московского моря, пере-

плетения труб Редкинского химического завода — все это мне предстояло впредь созерцать постоянно, дважды в неделю.

Принять меня у ректора Калининского университета времени не нашлось, но он распорядился заочно: зачислить. Позднее я узнал стороной, что ректор сильно сомневался, брать ли меня на работу.

За последующие четыре года я сделал немало, работая энергично, с возродившимся энтузиазмом: открылось новое поле деятельности — организационная работа в прикладной математике.

Когда я начинал, студентам преподавался лишь небольшой двадцатичасовой курс программирования. Практика велась на старой, списанной ламповой машине М-3.

Через четыре года:

В "моем" деле около сотни человек. КГУ имеет ВЦ, где в трех больших залах стоят две машины М-220 и одна ЕС-1020. На четверть миллиона хоздоговорных работ. Кафедра вычислительной математики с весьма квалифицированным составом преподавателей. Новая специальность — прикладная математика с сотнями студентов.

Вскоре мне наподдали коленкой под зад.

В университете все определяет ректор. Он крепко держит все нити в руках.

Думаю, что, принимая меня на работу, он уклонился от встречи не случайно: "Пока работай, но помни, что брал тебя не я".

Мнение о нем, по отзывам, сложилось благоприятное: умный, решительный, не склонный прислушиваться к авторитетам, уважающий ученых (точнее, докторов), национально терпимый. К тому же он дал мне хорошую работу, не вмешивался в мои дела, и я был ему признателен.

Но в январе 1975 года неожиданно прибыл приказ ректора об отделении ВЦ. Вскоре у меня забрали и научно-исследовательский сектор. Немало к тому усилий приложили мои помощники, оба — полковники в отставке, которые плохо ладили с интеллигентами на кафедре и были очень чувствительны к вопросам субординации.

Невольно вспомнился случай из жизни. В Елабуге, где я когда-то жил, есть музей Шишкина. Однажды заведующая, местная жительница, с семиклассным образованием, водила заезжую экскурсию.

- Шишкин – величайший русский пейзажист, – сказала она.
- А Левитан? – спросили из экскурсии.
- Левитан против Шишкина – щенок, – обиделась заведующая.
- Да к тому же еще и еврей.

А теперь – о дне Икс.

Наша секретарша не раз передавала мне просьбу зайти во второй отдел. Я явился и узнал, что проводится важная работа:

– Следует упорядочить учебные планы и программы по случаю дня Икс.

Я пообещал зайти и забыл про это пустое дело.

Однажды мне передали: не зайду – доложат ректору. Я чертыхнулся, оторвался от реальных дел, собрал программы и явился. Мы прошли в конец коридора, постучались в закрытое окошечко и были допущены в большую комнату с решетками, где сидел мужчина с бесстрастным лицом. Девушка вынесла из соседней комнаты листочек. Слева колонкой шел список предметов, справа – часы. Я сказал, что задача мне понятна, как вдруг мужчина сказал несколько отвлеченным образом:

– Мы в связи с этим решили заодно вас оформить.

В его руках появилась бумажка, и он показал, где надо расписаться.

Я взял ручку и уже было расписался, но обратил внимание, что бумажка напечатана типографским способом и кое-где слова бросались в глаза: “государственная тайна” и “иностранцы граждане”.

Я взял бумажку из рук начальника, стал внимательно ее читать и допытываться одновременно, в чем дело. Выяснилось, что речь идет об оформлении допуска к секретной работе.

Я выразил сомнение в необходимости такого шага: ведь моя работа – самая что ни на есть открытая.

Начальник обыденным голосом, как о давно решенном, сказал:

– Мы всех заведующих кафедрами оформляем, все вы уже допущены.

– Тут написано: “Обязуюсь не разглашать государственную тайну”, – сказал я, – а я никаких тайн не знаю и знать не хочу. Насчет контактов с иностранными гражданами – у меня большая научная переписка. А как с выездами за границу? Я заинтересован в научных контактах.

— Рассмотрим и дадим специальное разрешение.  
— Еще лучше все это вообще не затевать. Скажу прямо, у меня большие сомнения, ведь это же очень серьезный документ.  
— Разумеется, — подтвердил он, впервые забыв о своем беззаботном тоне.

— Вот я и хочу хорошенько подумать, прежде чем подписывать, — сказал я и положил бумажку на стол.

— Придется доложить об этом ректору, — сказал начальник.

— Ваше дело.

Я попрощался и ушел.

Об оформлении программ мы оба забыли. Не в них была суть.

Я поспрашивал коллег и знакомых: ни с кем ничего подобного не происходило. Спектакль предназначался единственному зрителю?

И вот вскоре, в один прекрасный весенний день подошли ко мне три дамы с моей кафедры и спросили:

— В местной газете напечатано объявление о конкурсе на вакантную должность завкафедрой вычислительной математики. Что бы это значило?

Я рассказал о случившемся своему коллеге И.

— Дело это возмутительное и беспрецедентное, никогда ни о чем подобном не слышал. Ведь вы проходили конкурс на эту должность?

— Всего лишь год назад, и прошел единогласно. Хвалили — медом мазали: “великолепный организатор”.

— Обжалуйте, и объявленный конкурс признают недействительным.

— Вероятно, так и будет, но протестовать мне не стоит, — сказал я, подумав, — ректор потом найдет сто причин, чтобы меня выгнать. А я не в должности заинтересован, а в работе.

После заседания совета я подошел к ректору и сказал, что хочу поговорить. Он заколебался, стал ссылаться на занятость, но я настаивал. Он согласился и пригласил меня пройти в кабинет. За ним прошел секретарь парткома, сел рядом, для поддержки, но во все время разговора не произнес ни слова, молчал с мрачным видом.

Я спросил, что бы это все значило, это объявление.

— Не буду скрывать, конкурс на заведование мы объявили под нового человека. Но ведь вы сами об этом просили! Вы говорили мне, что с удовольствием прекратите заниматься при-

кладной математикой и снова целиком углубитесь в свою теорию чисел.

Тут я впервые заговорил резко:

— Ни о чем подобном я никогда не просил. Да, я собирался найти подходящего специалиста и постепенно передать ему свое дело. Вы решили убрать меня немедленно. Нужно было со мной поговорить, я освободил бы место, перешел бы на другую кафедру, а вы объявили бы конкурс на вакантную должность. А теперь что получается? Вы меня снимаете, как будто я не справился с работой, провалил дело. Все так и будут думать.

— Тут, возможно, мы что-то недосмотрели, — сказал ректор. — Если хотите, я могу выступить на ученом совете и объяснить. “Едва ли ты это сделаешь”, — подумал я.

— Раз уж вы все за меня решили, конфликтовать не буду. Хотел бы уехать с сентября на Факультет повышения квалификации. На том и порешили.

Какую роль во всем случившемся играла моя национальность? Весьма существенную. Количество руководителей евреев уменьшается повсеместно, в том числе и в КГУ. Среди завкафедрами было их еще лет пять назад около десятка, сейчас — два-три человека. Выгнал бы меня ректор, если бы я не был евреем? Возможно. Однако никогда это не было бы сделано столь грубо, беспепелляционно, с нарушением закона. Он ясно ощущал, что имеет дело с человеком безответным: ругаться я не буду, деваться мне некуда, можно делать все, что угодно. Здесь — одна из причин теперешнего моего уныния. Я понял: держат, пока есть нужда, как появляются люди, могущие заменить, выгонят без сожаления в ту же минуту и сделают это в самой грубой форме.

Недавно исполнилось мне пятьдесят лет. Накануне вызвал меня на заседание партбюро недавно выбранной секретарем Николай Яковлевич Попов, бывший мой заместитель. Он выступил с разгромной речью и очень старался завести на меня персональное дело: я, оказывается, давно уже не платил профсоюзные взносы, пропускал собрания и философский кружок.

— Вы совсем разорвали связь с партией, — зловеще заключил он свою речь.

На факультете ко мне относятся очень хорошо, грех жаловаться. Общее предложение было — ограничиться обсуждением. С днем рождения!

**То, что происходит, меня очень огорчает**

— У вас появились враги? — спросил меня мой единомышленник.

— Есть люди, которые гонят меня, хотят моей гибели. Бежать, бороться — не получается. Что делать?

— Изъясните конкретнее.

— Существует группа математиков, занимающих весьма высокое положение, которые соединили свои усилия и направили их сознательно и целеустремленно на изгнание евреев из математики. Действуют они в разных направлениях и любыми средствами. Самое возмутительное, беспрецедентное и нечестное — практика отклонения диссертаций.

— Что же это за практика?

— Защищенная в ученом совете вуза работа поступает в ВАК (Высшую аттестационную комиссию) и направляется на научную экспертизу. Специально подобранный рецензент, в обиходной речи — “черный рецензент”, на качественную, вполне заслуживающую степени работу пишет отрицательный отзыв. Экспертный совет проводит тенденциозное с заранее предрешенным исходом обсуждение и принимает решение об отклонении. Все участники этой процедуры прекрасно понимают, что диссертация отклоняется потому, и только потому, что она — еврейская. Эта практика существует уже давно — лет семь. Число отклоненных таким образом диссертаций, кандидатских и докторских, перевалило, по моим подсчетам, за сотню, а весьма возможно — и не одну.

— Как вы получили информацию?

— В борьбе. Почти два года противился я отклонению кандидатской диссертации В., моего ученика. У него очень хорошая, гораздо выше среднего, работа. Я изучил отработанную механику отклонения, встречался с людьми, участвовавшими в отклонении, понял их мотивы. Одновременно я познакомился с десятками подобных случаев. Несмотря на все мои усилия, решением коллегии ВАКа от 22 декабря 1976 года, работа, неотъемлемая часть моих многолетних трудов, была отклонена. Теперь вам должно быть ясно: то, что происходит, меня очень огорчает.

— Вы должны выступить с протестом. Этих людей нужно остановить. Вы их знаете?

— Многих знаю лично, известны и фамилии остальных. Все они — либо члены Экспертного совета, либо члены экспертных групп, узкий кружок рецензентов. Поскольку прохождение дел строго документировано, беспристрастное расследование легко могло бы... Да состоится ли оно? Жаловались люди — результата никакого.

— На что же они жаловались?

— Как обычно: диссертация отклонена, но она хорошая, произошла ошибка, просим пересмотреть и утвердить.

— А истинные причины?

— Они никогда не называются: никому не хочется лезть в политику.

— При чем здесь политика? Специалист дает о работе заведомо ложный отзыв, он голосует за отклонение диссертации, руководствуясь расовыми мотивами, все это — нарушение закона. Этих людей, а их, как я вас понял, не так уж и много, нужно разоблачить, наказать, и уж во всяком случае помешать им творить незаконное. Вот вы и должны выступить с протестом.

— Почему я?

— Если не вы, то кто? Сколько раз бахвалились вы, что стремление к истине — духовная ваша суть, не давать вам заниматься математикой означает лишить вас самой основы бытия. И вот, появляются люди, грязящие истину, выбивающие из-под ног фундамент, на который вы опираетесь. И вы смиренно подчиняетесь? Помните: “Ты боишься? Не бойся — ты уже умер”.

Я хотел ответить и не мог.

— Не отвечайте, я понимаю ваши чувства, ваши опасения. Поступим так: вы по всей форме изложите ваш протест, вы опишете ваши наблюдения. Потом — подумаем.

*(Окончание следует.)*

**Книгоиздательство “Москва – Иерусалим”**

**Адин Штайнзальц  
“СУТЬ ТАЛМУДА”**

**Предварительные заказы принимаются по адресу:  
“Москва – Иерусалим”, РОВ 7045, Рамат-Ган, Израиль**

## РУССКАЯ АЛИЯ И ИЗРАИЛЬ

*Когда эти материалы уже находились в печати, израильская пресса сообщила о решении прекратить помощь всем ншрим, кроме тех, у кого имеются ближайшие родственники в США. Решение это, однако, не снимает самой проблемы неширы и актуальности публикуемых ниже высказываний.*

Э. Кузнецов

**НЕШИРА**

На традиционный вопрос: “Чем вы собираетесь заниматься?”, я имею обыкновение отвечать, что главная моя профессия — читать книги, но поскольку за чтение книг не платят, то придется писать. Равным образом вместо того, чтобы добросовестно скучать над многостраничными рассуждениями о нешире, я сам пишу о ней в надежде привлечь дополнительное внимание к важности постижения некоторых нюансов психологии советского человека — такое понимание может пролить дополнительный свет на ряд аспектов вынесенной в заглавие темы.

Хотя я прожил в Израиле целых три недели и уже могу не только отличить Тель-Авив от Хайфы, но и знаю, когда следует сказать “тода раба”, а когда — “бэвакаша”, я все-таки пока воздержусь от рецептов радикального переустройства Израиля ради решения проблемы неширы. Вместе с тем я исхожу из аксиомы, что Израиль нуждается в алии, в том числе и русской, способен ее интегрировать и достаточно пластичен, чтобы в ответ на жизненные запросы оперативно перестраивать свою инфраструктуру не только без ущерба для общей своей стабильности, но и на пользу ей.

Говоря очень обобщенно, ин-

тересующий нас вопрос распадается на два взаимосвязанных аспекта: израильский и внеизраильский. Первого я по необходимости коснусь лишь мельком: хотя мне известно о неблагоприятных в абсорбционной политике и практике, о глубинных причинах этого неблагоприятия я пока знаю лишь понаслышке и петь с чужого голоса, даже если он очень сладкозвучен, не могу. Следовательно, предмет данной статьи — попытка ответить на вопрос: что можно и должно сделать, чтобы большая часть эмигрирующих из СССР евреев брюзжала именно на Израиль, а не на всякие там Америки-Австралии? Как помочь еврею превратиться в израильянина?

Несколько дней назад, уныло перебирая очередную пачку писем, я набрел на одно, написанное по-русски. Это был проиллюстрированный тщательно выполненными чертежами чрезвычайно увлекательный проект сооружения подземного тоннеля Иерусалим—Измайлово (диаметр на входе — сто метров, на выходе — полметра). Очевидно, автор, как и я, в прошлом москвич — иначе откуда бы ему знать о лесопарке Измайлово? Надумавшие покинуть СССР должны тайно съезжаться в Москву и тут же, как бы прогуливаясь, с оглядкой семенить в Измайловский парк, а там в условленном месте, раздвинув кусты, они увидят лаз — не то чтобы совсем уж с игольное ушко, но что-то вроде того, — еще чуть-чуть, какой-нибудь десяток километров и вот оно — подземное шоссе с вереницей автомашин... Блестящая, по-моему, идея, есть в ней что-то эдакое суворовское — тот тоже любил с тылу подкрадываться. Но вот беда: дыра узковата — не случиться бы пробке...

Не менее любопытным показался мне проект одного инженера в Ладисполи. "Многие из нас колеблются, — надрывно признался он, нервно прижимая руки к груди. — Вот если бы в Вене нас погрузили в запломбированные вагоны и прямо доставили в Израиль — дело другое. Оно хоть как-то и по-советски, зато сразу"... Этот вагонный проект поразил мое воображение, дня три я так и сяк обдумывал его, прикидывая, где бы раздобыть пломбы помассивней, пока не вспомнил про Средиземное море — как же через него в вагонах? С сожалением расставшись с надеждой отыскать блищрешение, я пришел к простому выводу, что придется ограничиться поисками неких комплексных мер, ориентированных, увы, не на эффектные, фейерверковые, такие сладкие сердцу каждого трюки, а на многолетнюю кропотливую работу.

Оставив пока в стороне вопрос о том, сколь способствуют увеличению неширы абсорбционные мытарства, и, сделав вид, будто верю, что скоро они будут сведены к приемлемому уровню, я хочу в первую очередь обратить внимание на психологические особенности неширы. При этом я исхожу из легкомысленного предположения, что все израильские министерства день и ночь думают, как бы им реорганизоваться и направить свою энергию и финансы в какое-нибудь другое русло.

Итак, нешира. Точнее — русская нешира. На русскую алию возлагались такие большие надежды, что девяностопятипроцентная южноафриканская нешира и девяностопроцентная иранская никого вроде бы не волнуют, а вот семьдесят процентов русской неширы многих повергают в ужас, недоумение, раздражение... Покинув СССР по израильским визам, большая часть евреев расползается по всему миру, с унылым, а чаще истеричным упрямством отворачиваясь от Израиля. Нигде, кроме Израиля, их не ждут, двери более благополучных стран отнюдь не распахиваются перед ними настезь, но они люди тертые, ползать им не впервой — по-тараканьи упрямо и хитро они лезут во все щели. Их можно понять, их надо понять — понять и в меру сил постараться помочь им отделаться от тараканьей психологии.

Советские евреи — жертвы режима и героические борцы с ним, готовые на все, чтобы прорваться в Израиль, сохранившие в ночи террора, тотальной дезинформации и всех видов ассимиляции гордость своим еврейством, горящие желанием послужить Израилю, стойкие носители свободолюбивого начала ... и т. д. и т. п. Но советские евреи в большинстве своем почему-то не хотят соответствовать этим стройным схемам. У них есть всего этого понемножку, но оно перемешано с многим другим, разбавлено черт-те чем, настояно на всякой всячине. Они жили там, а схемы создавались тут. Там особая игра, с довольно странными на общечеловеческий взгляд правилами, и для понимания ее нужно отказаться от всяческих схем и заранее подготовить себя к самым разным неожиданностям. Точно также ошеломлен Запад, когда, вдоволь наобнимавшись с наконец-то вырвавшимися из-за железного занавеса "борцами, героями сопротивления", чуть отошел, отстранился от них, чтобы получше рассмотреть: вместо статных полубогов, вылепленных сострадательно-сочувственным воображением, его взору предстали в лучшем случае очень обычные люди, в худшем — горбатые карлики, с фанатичным блеском в

глазах, с весьма странными привычками, путаной логикой и неслыханными претензиями. Не многим из них удается избавиться от своего горба и научиться ходить прямо, большинство даже гордится своей неординарной горбатостью и презрительно упрекает прямоходящих аборигенов в наивности, ожирении и всяческом декадентстве. (В скобках заметим: не всегда безосновательно.) Восставший раб, как известно, уже не раб наполовину, но только наполовину. Тотальное посягательство на человека, на самый дух его — тяжчайшее из преступлений преступнейшей из всех мыслимых деспотий. На глазах у всего мира это посягательство на человеческий дух осуществлялось так систематически и долго, что в чем-то оказалось успешным: даже борцы с режимом — жертвы режима, тяжесть тотального гнета так велика, что спины их не смогли не сгорбатиться. Жертва — особая социально-психологическая категория; пробыв жертвой десятки лет, не так просто потом выработаться в нормального прямоходящего.

Под каким бы соусом ни эмигрировали из СССР, в любом случае все это разновидности политической эмиграции. Ведь они эмигрируют из насквозь идеологизированного общества, вольно или невольно развенчивая его претензию на учреждение земного рая. Хотя степень политической окрашенности эмиграционного пыла бывшего политзэка, отказника, интеллектуала или снабженца очень разнообразна и не всегда очевидна, она присутствует. Но в данном случае нас интересуют по преимуществу те, у кого она наличествует лишь в очень незначительной мере. Они всего лишь евреи и отказываются понять сокровенный смысл уникальной возможности стать израильтянами, они затыкают уши, чтобы не слышать прошлого со всеми его чаяниями, стонами и мольбами, им хочется выпасть из истории, быть вне ее, не слышать ее гула — слишком слабые, чтобы тягаться с ней, они норовят ее обхитрить... Вчера жида, сегодня они всего лишь евреи, не только не желающие стать израильтянами, но порой и надеющиеся, затерявшись в западном разношерстом многолюдье, наконец-то избавиться от тяжкого бремени еврейства. Это, как правило, люди, которым осознание их еврейства навязано извне враждебным окружением. После кровавой купели сталинских времен, в атмосфере всепроникающей лжи, насильственно оторванные от национально-религиозных корней, иные из них интенсивно отрецивались от своего еврейства, норовя казаться более советскими, чем кремлевские патриархи. И только об-

щий (в том числе и идеологический) кризис всей советской системы, сопровождающийся в последнее десятилетие усилением антисемитизма, убедил их, что всякий камуфляж — напрасный труд: ни им не верят, ни у самих у них нет уже более сил лицемерить и терпеть. А тут как раз двери приоткрыли — пускают, куда раньше и мечтать не смели, о чем и заикнуться не могли. В те времена, когда эмигрантские вождения пахли кровью и тюрьмой, они сидели тихо-смирно, но теперь вдруг... Для таких все вдруг — истории они не чувствуют. Приговоренные к еврейству, жертвы и дети советской системы, они хотят нормальной, как они ее понимают, человеческой жизни — а где ж она в Израиле?! Никто из них давно уже не верит советскому вранью, но оно столь всеохватно и чудовищно, что трудно так или иначе не отравиться этим пойлом, трудно допустить, чтобы все, что с утра до ночи радио плетет об Израиле, было сплошь ложью... И на всякий случай лучше держаться подальше от этого Израиля. И только малая часть ношрим одержима комплексом вины, они колеблются, они мучаются, они еще не потеряны для Израиля. Впрочем, я уверен, что в конечном счете никто для него не потерян — только в каких бухгалтерских книгах записан этот конечный счет?

Прежде всего надо с самого начала отказаться от иллюзии выдумать некий волшебный ход, чтобы съесть все черные шашки и вмиг пройти в дамки. Надо ориентироваться на долгосрочную программу.

Как я уже упоминал, я исхожу из нескольких изначальных аксиом, типа той, что Израиль нуждается в алии и ради увеличения ее готов финансировать те или иные проекты, основанные на научных рекомендациях, и той, что, сколь бы ни был далек от идеала потенциальный оле, государство достаточно гибко и мощно, чтобы всех принять, каждому найти место, отвечающее его наклонностям, и способствовать превращению горбуна в более или менее стройного красавчика.

Ношрим отнюдь не сознательные борцы с режимом, не активные носители какой-либо политической идеологии, не сионисты, ни даже какие угодно "исты". Они бегут от антисемитизма, если и не угрожающего им классическим погромом уже сегодня, то чреватого таковым в любой завтрашний день, которого им не предугадать, не избежать, антисемитизма, если и не убивающего их сегодня, то лишаящего их будущего. Они бегут от анти-

семитизма, но не в меньшей мере и рвутся на вымечтанный Запад за своим шансом на "дольче вита". И, вообще говоря, имеют на это общечеловеческое право. Когда бы не энтузиастические схемы относительно них на Западе, когда бы не необходимость, добиваясь визы, провозглашать себя израильскими патриотами... Оно, конечно, все понимают, что, не провозгласив, не уедешь, что без героизированной кампании на Западе тоже не вырваться из социалистического рая. Так-то оно так, и врать им, как всякому советскому человеку, не впервой, и все же у них очевиден некий комплекс вины — у некоторых, по крайней мере. Они постоянно оправдываются — плетут небылицы, выкручиваются, привирают, униженно или агрессивны, но оправдываются. Надо видеть их прищур: меня не проведешь — умненько лучатся их глаза. Это во многом все еще советские люди, они ничему не верят, им всюду чудится обман, их душевные мышцы напряжены со всей издавна выработанной силой и готовностью сопротивляться. И все же, несмотря на тошнотворное отвращение ко всякой идеологии, вечные объекты идеологизированной лжи, сами вынужденные и привыкшие лгать, чтобы выжить, они, может, впервые в жизни, чувствуют, сами себе не веря, что на этот раз за высокими словами стоит нечто реальное. Чувствуют и не верят, не хотят, не могут поверить до конца — этому их научила советская жизнь. Они горбатые и не верят в возможность некривого существования, они стремятся не прямо войти в новую жизнь, но как-нибудь исхитриться и бочком-бочком приспособиться к ней. Не все из них, далеко не все имеют более или менее отчетливое представление о реальностях Запада. Многие ринулись сюда не только потому, что устали от второсортности, антисемитизма, угрозы будущим, от полунищеты, но и потому, что навоображали о Западе неведь что. Они рвутся на Запад, в частности, и потому, что туда не пускают. Точно так же сам факт, что перед ними распахнуты двери Израиля, а в Америку их не больно-то пускают, приводит в действие извечный механизм советской психологии: куда тащут или куда всем можно, там плохо, куда не пускают, там хорошо — раз не пускают, значит, там что-то "дают".

Мощь советской машины лжи велика, и потому противостоящая ей правда обязана быть мудрее и инициативнее. В перспективе следует активнее поддерживать все силы, требующие от Советского Союза выполнения правовых обязательств в соответствии с подписанными им международными документами,

в первую очередь — предоставления свободы слова, свободы получения и распространения информации. В этой связи необходимо хотя бы бегло коснуться болезненного вопроса о блокировании с так называемыми диссидентами. Чаще всего приходится слышать: никаких контактов, поскольку, дескать, цель сионистов — уехать, а не менять советский режим. Ну, во-первых, добиваться изменения эмиграционной политики — это уже покушаться на изменение режима, так как эмиграционный вопрос — важнейшая составляющая всей политики любого государства, а закрытого — и того более, а во-вторых, в том-то и беда, что эмигрируют сплошь и рядом не сионисты, а просто евреи, и ради начала превращения их в потенциальных израильтян необходима хотя бы относительная свобода проникновения и циркулирования на советской территории информации. Вот вам уже два чрезвычайно важных посягательства на неприкосновенный советский режим. Можно и еще насчитать, но для целей данной статьи достаточно и этих двух. Отделение эмиграционных стремлений от намерений изменить в тех или иных отношениях государственную систему довольно условно. Вероятно, на предыдущем этапе понуждения Советского Союза к хотя бы крошечному послаблению эмиграционной политики, такой подход был тактически верным (не будучи верным абсолютно). Сейчас, не перестав быть полезным для решения ряда локальных проблем, он является по существу ошибочным. СССР в тупике, и чтобы выйти из него, он готов на некоторые уступки. Раз уж так сложилось, что ему-таки из этого тупика все равно помогают выкарабкаться, необходимо настойчивее требовать от него определенного рода уступок. Заявлять, что нас не волнует природа советской власти — слишком дипломатично, такие заявления, будучи ложными по существу, еще и работают на экспансию страха и трепета перед советским всесилием. Нас не может не интересовать внутренняя политика Советского Союза как по общегуманным соображениям, из чувства солидарности и сострадания к советским евреям, так и по всем известной, но часто забываемой связи внутренней политики с внешней. Разве не Советский Союз поставляет оружие террористам, разве не советские катюши обстреливают наши земли? Мы не можем не интересоваться всеми аспектами советской политики, мы не можем не желать ее изменения, приведения к некой общеевропейской норме — и почему мы должны бояться об этом говорить? Как бы ни был нам внят смертоносный смысл

советского режима, мы не вправе бороться за его свержение. Зато мы можем и должны делать все возможное, чтобы принудить Советский Союз к выполнению взятых им на себя общеправовых обязательств в области человеческих свобод и к поведению на международной арене в соответствии с общепринятыми среди цивилизованных государств нормами. Это не работа ради свержения режима, но понуждение закоренелого людоеда к отказу от людоедских замашек: раз уж он норовит усесться за общий стол (а без участия в мировой рыночной системе он рискует стать неконкурентоспособным и понял это), надо решительно требовать, чтобы прежде он вымыл руки и вел себя за столом прилично.

Итак, нужны точные акценты: блокирование не с теми, кто мечтает (сколь бы это ни было нереально) сковырнуть советский режим — тем более, что среди них много деятелей правого, в том числе и антисемитского толка, и с какой, спрашивается, стати я должен с ними блокироваться, — но с участниками правозащитного движения, такими, как А. Сахаров. Что, разумеется, не мешает нам отчетливо понимать, что, если советская система будет вынуждена хоть в некоторой степени быть правовой, — это будет уже совсем другая система, и, таким образом, требуя от нее правового поведения, мы воленс ноленс требуем ее весьма существенного изменения. Сионисту, конечно, и в голову не придет, получив выездную визу, остаться в СССР ради участия в правозащитном движении, но не исключено, что кремлевские старички еще и потому выпускают сионистов, чтобы последние не были вынуждены логикой вещей активней участвовать в противостоянии режиму по всей линии фронта. Это следует учитывать.

Оптимальным решением проблемы переориентации сознания потенциальных олим была бы организация "вокзалов" на территории самого Израиля. Сегодня Советский Союз на это, конечно, не пойдет. Но ведь в принципе возможна какая-то договоренность с правительствами Австрии и Италии. В Ладисполи на вопрос: "Если бы выезд возможен был только в Израиль?" Ношрим дружно ответили: "Тогда мы поехали бы в Израиль". Мы не имеем морального права желать, чтобы другие государства наглухо захлопнули свои двери, но будет достаточно демократично и процедурно верно, если имеющие израильские визы смогут получить разрешение на въезд в какую-то другую страну только с территории Израиля. Вопрос в том, насколько Израиль способен и

готов перестроить свою абсорбционную политику, в том, сколько людей он может в самом деле полноценно абсорбировать. Если такие "вокзалы" будут на территории Израиля, неизбежны вопли об ущемлении свобод эмигрантов. Но по каким только поводам не вопят! Разве на руках у ношрим не израильские визы? Разве Израиль менее демократическая страна, чем, скажем, Италия? Разве из Израиля труднее уехать, чем из любой западной страны? Против ожидания заокеанской визы именно в Израиле ношрим могут возражать по тому же принципу, что и против пребывания в Италии: почему именно в Италии, а не на Канарских островах? Или еще где угодно. Все очень четко: пока не было Государства Израиль, существование еврейских "вокзалов" в других государствах объяснимо, теперь это анахронизм.

Порой, слыша рассуждения о нешире, не можешь отделаться от ощущения, что речь идет о том, как бы заманить евреев в Израиль, причем ораторы стыдятся своего намерения и все время вуалируют его всякими демократоидными оговорками. С одной стороны, сообщают, их нельзя насилловать, поскольку они такие же свободные люди, как и мы с вами, а с другой, они сплошь темные и неменяемые и, если их не подтолкнуть в нужную сторону, — пропадут ни за понюх табаку. И в том, и в другом есть своя правда, но в отрыве друг от друга они не дают сбалансированного и реалистичного подхода. Скажем так: они свободны потенциально, а невежественны и беспомощны реально. От советских комплексов за пару месяцев их не излечишь, но попытаться заполнить информационные бреши в их сознании можно, и только после этого пусть бремя свободного выбора ложится на их плечи. Излишне церемонное абстрактное сюсюканье над ношрим — одна крайность, другая — нескрываемая неприязнь к ним со стороны тех, кто по долгу службы вынужден общаться с ними. Пора обрести реалистичную середину — это конкретные люди, с очень конкретными нелегкими судьбами, нуждающиеся и в понимании, и в жалости, и в помощи, и в подталкивании — деликатном и процедурно демократичном. Не нужны никакие особые уговоры, принуждения — только наглядная агитация: за те же деньги, за которые ныне они таращат глаза на диковинки Вены и Рима, пусть разевают рот на израильские сюрпризы. Даже если они в этот раз укатят, шанс на их возвращение в недалеком будущем возрастет. Надо не забывать, что структуры западных

стран достаточно жестки, советские евреи не столь уж желанные гости, вписаться им в эти структуры крайне непросто и, по меньшей мере, добрый десяток лет они будут чувствовать себя посторонними. Тогда как израильское государство еще в стадии становления, оно значительно более открыто для новопривывших, предлагая широкий набор возможностей достаточно быстро, полноценно и активно внедриться в свою структуру. Не говоря уж о том, сколь значительна в Израиле прослойка выходцев из России, само ощущение еврея, что он среди своих, равный среди равных — очень впечатляюще. Даже и недолго пробыв в Израиле, он потом не раз взмечтает вернуться в него. Даже если американский шанс улыбнется ему (а он не так уж и улыбочив, как скоро начинают это понимать эмигранты), чувства кровной домашности ему там не обрести.

Но если создание "вокзалов" на территории Израиля дело непростое и осуществимое разве что в перспективе, то организация ознакомительных поездок из Вены и Рима — дело выполнимое уже сейчас. В первую очередь для детей. Однако важно, чтобы это были минимально туристские поездки: у туриста специфический взгляд — из автобусного окна он все время видит не то, хоть ты тресни, такова уж особенность самого туристического статуса, он — потребитель красот и раритетов... и только. А вот если бы он мог месяца два-три пользоваться статусом потенциального гражданина: поработать на заводе, в кибуце, пожить у родственников, у знакомых, — он приобрел бы совсем особый опыт. И особенно дети: они так быстро обзаводятся тут друзьями, что потом даже и в толстощекой Америке будут терять за подол своих матерей и требовать возвращения в Израиль. Раз почувствовав себя своим среди своих, ребенок не забудет этого и предпочтет это чувство всем внешним комфортам.

Хотя, вообще говоря, Советский Союз может захлопнуть свои ворота в любой момент, сейчас этого, вроде бы, можно не опасаться, а, следовательно, пора требовать от него осуществления эмиграционной практики в соответствии с минимальными общепринятыми нормами, в частности — пенсионного обеспечения эмигрантов и возможности, прежде чем они со всеми чадами и домочадцами навсегда переселятся в другую страну, совершить в нее гостевой визит. А поскольку подавляющее большинство евреев эмигрируют по израильским визам, то и гостевой визит для них возможен только в Израиль. Пусть приезжают, смотрят и

думают. Только тогда можно будет заикнуться о какой-то свободе выбора.

Психологически дальновидно — не навязывать израильское гражданство, но предоставлять возможность заслужить право на него. Доступ в полноправные граждане Израиля должен быть облегчен по сравнению с получением гражданства других стран, но ни в коем случае не следует принуждать к этому гражданству уже в Москве.

Перечитав написанное, вижу, что картина получилась не из самых веселых — такие уж никудышные эти советские евреи, хоть возьми да выбрось! Но они никудышные только на фоне существовавших относительно них иллюзий — право слово, они за эти иллюзии не в ответе. Они обычные люди, то есть всякие. Но не следует забывать, что именно они родили самых стойких противленцев, именно они выделяют из своей среды тридцать процентов алии, именно их отторгает, не в силах переварить, советская система — искалеченные ею, они все же не стали частью ее. И, так или иначе, теперь их руками уже не будут делаться советские танки — а это тоже немало.

В одном из абзацев я не случайно упомянул о проектах, основанных на научных разработках. Но что-то сдается мне, что настоящему серьезно за эту работу еще никто не брался и есть настоятельная потребность в ответственном учреждении, которое способно упорядочить и систематизировать опыт многих, извлечь некую пользу даже из хаоса такой вот, как эта, статьи.

*Нешира (иврит) — отпадение, отсеяв; отсюда ношрим — отпавшие, отсеявшиеся (в политическом жаргоне — "прямики") — те советские евреи, которые выезжают из СССР по израильским вызовам, но в Израиль не едут, "отсеиваются" в Вене и "прямоком" направляются в Рим и дальше — на Запад.*

Вчерашняя массовая алия сменилась сегодняшней столь же массовой неширой. Поскольку рассматриваемый социальный коллектив (советское еврейство) остался тем же самым, а характеристики его — не изменились (как прежде, так и сейчас основная масса движима не идеалистическими, а прагматическими соображениями и особо глубокими еврейскими — национальными, религиозными или политическими — чувствами не охвачена), приходится думать, что произошло изменение психологического состояния. Не претендуя на объяснения, можно констатировать эмпирический факт: советское еврейство находится сегодня в "состоянии неширы".

Два эти психологические состояния характеризуются прямо противоположными массовыми тенденциями. Для состояния алии типично стремление "принадлежать" к некоему (национальному, религиозному, политическому) коллективу, укорениться и самоопределиваться в нем. Для состояния неширы типичны, напротив, стремление принадлежать только самому себе и отказ от коллективных идеалов и ценностей. Как это часто бывает, когда явления отличаются только противоположным знаком, оба они растут из одного ствола.

Таким общим стволом в данном случае являются коренные особенности нашего советского бытия: его "двоемыслие", его неукорененность, его принудительная обезличенность, — сделавшие всех нас немножко "блатными" и наградившие почти воровской психологией, которая не признает над собой ни Закона, ни Бога. Компрометация этических принципов в равной мере способна породить как цинизм, так и тоску по высшим ценностям, а компрометация идеалов социальных — тягу к идеалам иным или озверелый индивидуализм. Все это мирно уживается в каждом из нас и именно это порождает нашу одинаковую готовность поддаться как коллективистскому гипнозу, так и индивидуалистическому импульсу — тем "убежденней", чем они массовой.

Что эта двойственность живет в каждом из нас, показывает хотя бы страстность, с которой некоторые наши давние и недавние репатрианты негодуют по поводу "нош-рим" или предлагают (поддерживают) самые решительные меры борьбы с ними. В этой страстности порой безошибочно узнается дошедшая до озлобления зависть к тем, кто "посмел", или выросшее в неуверенность сомнение в правоте собственного выбора. Иными словами, неширой "больны" не только те евреи, которые находятся в Союзе или на пути в Штаты; неширой больны и мы. Это —

лишнее подтверждение того, что все мы, советские евреи, где бы мы ни жили, в России, Израиле или Америке, составляем по-прежнему единый организм: у нас общая кровеносная система, общие проблемы, общее состояние; и сегодня это состояние называется неширой. У евреев американских и израильских причины и характер волнения по поводу советской неширы — иные.

Однако эмпирическое описание не заменяет анализа причин, а такой анализ сегодня — главная задача. Поэтому публикуемая ниже подборка есть, прежде всего, попытка такого анализа — через открытое самовысказывание. Она содержит признания самих ношрим; некоторые "практические рекомендации"; личные оценки и отношения, варьирующие от широкого "пусть едут, куда хотят", до иронически-уничтожительного: "такие и с фашистами жить готовы"; и даже одну глобальную и вполне детективную теорию, по которой вся нешира (а может, и многое другое?) объясняется существованием тайного и мрачного антиссионистского сговора американских сенаторов с кремлевскими вождями (эту теорию мы обнаружили в израильском русскоязычном "самиздате" и сочли заслуживающей хотя и не сочувствия, но открытой публикации). В подборке нет только одного — программ "борьбы с неширой". Ибо мы считаем эту борьбу даже более опасной, чем сама нешира. Пусть нешира — болезнь или массовый психоз (с этим тоже далеко не все согласятся); но можно ли лечить болезнь — а тем более административными мерами, — не понимая ее причин?!

*Александр Дранов*  
*(эмигрировал из СССР*  
*в 1978 г., живет и работа-*  
*ет в Хьюстоне, США)*

## **ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДПОЧИТАЕМ АМЕРИКУ?**

В последнее время руководители Израила и американского еврейства много шумят по поводу того, что большинство советских евреев едет не в Израиль, а в Соединенные Штаты. У них действительно есть причины для беспокойства. В 1978 году из СССР выехало более 28 тысяч евреев, из них в Штаты направилось более 12 тысяч (я был одним из них). В нынешнем году эмигрантов будет, по всей видимости, больше 50 тысяч, и ожидается, что более 30 тысяч из них выберут Америку.

Многие израильтяне никак не могут понять, почему большинство из нас не хочет ехать в Израиль и не испытывает никаких патриотических чувств по отношению к своей "исторической родине". Я попробую это объяснить.

Никто из нас, даже те, кто в глубине души не чувствует себя евреем, не имеет ничего против Израиля. Спору нет, благодаря Израилю мы сумели вырваться на свободу. Но так повернулось, что свобода для нас — это прежде всего право наконец-то не делать ничего такого, чего не хочется, — в том числе, ехать в Израиль. Именно ради этого права мы и уехали из Союза.

В чем главная причина эмиграции из Союза? Это желание вырваться из страны, где тебя угнетают. Угнетают не только евреев (хотя их, пожалуй, больше других), угнетение распространяется на всех, и не обязательно быть евреем, чтобы его чувствовать. Оно проявляется самыми разными способами, но все они сводятся к одному — к вечной нехватке того, что называется нормальной хорошей жизнью: продуктов, товаров, одежды, машин, квартир, информации, даже надежды на лучшее будущее.

Для людей более образованных имеют значение и другие вещи, которыми славится Америка: свобода печати, доступ к относительно объективной информации, возможность участия в политической жизни, возможность открыто высказывать любые мнения, путешествовать, куда хочется, выбрать себе, если хочешь, любую культуру или традицию. После многих лет лишений, нищенской жизни и неосуществимых желаний человеку хочется насладиться той западной культурой, которая недоступна в Советском Союзе, всеми этими бесцензурными книгами, фильмами, картинками, пластинками, даже порнографией. Ведь в России об этом можно только мечтать. А, кроме того, в Америке можно, наконец-то, не дрожать перед начальством, всякими бюрократами, партийными деятелями и вообще властью.

Конечно, мне могут возразить, что все это есть и в Израиле, в этой еврейской стране, созданной в качестве убежища для евреев всего мира, которые построили ее, живут в ней и ею гордятся. В какой, мол, еще стране может еврей жить более полной жизнью?

Но дело в том, что многие из нас не чувствуют, что эта странная ближневосточная страна с ее постоянной угрозой войны и экономической неустойчивостью имеет к нам какое-то отношение. У нас нет чувства долга перед ней или ее народом. Другие, может, и испытывают какие-то чувства к Израилю, но они боятся войны. Ведь многие советские евреи, особенно из старшего поколения, уже пережили ужасы войны. Вряд ли найдется человек, который не потерял бы на фронте или в оккупации кого-нибудь из близких. Можно ли их обвинять, если они не хотят, чтобы их дети жили в стране, где в любую минуту может вспыхнуть война?

Географическое положение Израиля тоже не очень привлекательно. С точки зрения многих советских евреев Израиль — недостаточно западная страна. А для тех, кто выехал из больших городов, как Москва, Ленинград или Киев, так это вообще символ Востока. И еще один фактор: климат. Многих просто пугает жара и пустыни, которые занимают большую часть Израиля. Американский климат кажется им более приемлемым.

Еще более важно, что многие советские евреи считают Израиль менее свободной и демократической страной, чем Штаты. Некоторые даже считают, что он во многих отношениях похож на Союз. Представление это довольно устойчиво. Для него есть не только воображаемые, но и вполне реальные причины. Принудительная военная подготовка и военная служ-

ба, откровенно религиозный характер общества, слухи об ограничениях на выезд из страны — все это плохо настраивает советских евреев.

Отсюда понятно, почему многие советские евреи предпочитают эмигрировать в богатую и свободную страну, в которой все устойчиво, надежно, спокойно, уровень жизни высокий, перспективы работы — самые широкие, а главное — где тебя, наконец, "оставят в покое". Для нас, выходцев из Советского Союза, самое большое удовольствие — наконец-то иметь возможность не забивать себе голову всякими политическими вопросами. На то и свобода, что я никому ничем не обязан, что я не должен обязательно кем-то быть — даже евреем, если я не хочу. Прибавьте к этому высокую и разностороннюю американскую культуру, знаменитые города, умеренный климат, и вы поймете, почему советские евреи предпочитают эмигрировать в Штаты, а не в Израиль.

Стоит ли с этим бороться, как призывают некоторые еврейские лидеры? Нужно ли предпринимать радикальные меры, вроде ограничения вызовов от израильских "родственников"? Совершенно очевидно, что такие меры только приведут к трагедии. Для многих евреев вызов — это единственный шанс бежать из Советского Союза.

Один израильтянин, которого я недавно встретил в Хьюстоне, спросил меня: "С какой стати я должен посылать израильский вызов каким-то неизвестным мне людям в Россию? Чтобы они потом приезжали в Бруклин? Мы нуждаемся в людях, мы отдаем вам все самое лучшее, а вы предпочитаете Америку! Почему я обязан о вас заботиться?"

Мой ответ простой. Вы обязаны это делать, чтобы ваши братья-евреи сумели вырваться из страны, где они потеряны для мирового еврейства. Вы обязаны это делать, чтобы дать им их единственный шанс выбраться в свободный мир и почувствовать, что значит быть свободным. Вы обязаны это делать, чтобы дать нам возможность усилить собой любую западную еврейскую общину, к которой мы решим присоединиться. Вы обязаны это делать, чтобы дать нам возможность, если мы захотим, в один прекрасный день приехать в Израиль. Вы, наконец, обязаны это делать, чтобы дать нам возможность покончить с проклятым наследием прошлого и научиться жить и мыслить свободно.

*("Пос-Анджелес таймс", 6.7.79.)*

*Лев Шеври  
(эмигрировал из СССР в  
1979 г., находится в Риме)*

## 25 ОБЪЯСНЕНИЙ НЕШИРЫ

Каковы причины, побуждающие тысячи людей, уезжающих из СССР, отправляться в Соединенные Штаты или надеяться осесть в Европе? Почему едут мимо? Каковы мотивы? Из всех мотивов, нестройно перекликающихся, предательски диссонирующих, попытаюсь сконструировать алгебру этой дисгармонии.

1. "Я об этом вообще не думал". Первый номер стоит здесь не случайно: это объяснение можно услышать чаще других и к тому же оно — составная часть многих других.

2. "Я ничего не знаю об Израиле". Это более откровенный вариант мотива № 1. И, безусловно, очень серьезный. Может быть, с этого мотива и надо было начинать.

3. "В Израиле тяжелый, жаркий климат, а мы привыкли жить в хорошем климате".

4. "В Израиле возможна (вариант "неизбежна") война". Представления о войне переносятся непосредственно из ленинградской блокады или сибирской эвакуации. "Мы уже пережили войну, с нас хватит".

5. "В Израиле воинская повинность, а у меня сын".

6. "Израиль — религиозное государство. Я не хочу, чтобы моего сына насильно учили Талмуду".

7. "В Израиле хорошо только сионистам".

8. "Израиль живет в трудных условиях. Значит, нужна сплоченность. Значит, идет идеологическая обработка, милитаристское воспитание. Значит, Израиль похож на Советский Союз".

9. "Израиль похож на Советский Союз".

10. "Израиль — бюрократическое государство".

11. "Мне никогда в жизни не выучить иврит. Иврит очень сложен, а мне даже английский тяжело дается".

12. "В Израиле я не найду работу по специальности. Эта маленькая страна не может развивать все отрасли науки, в том числе ту, которой я занимаюсь".

13. "Мои научные достижения могут быть оценены и внедрены только в США. В Израиле не те масштабы".

14. "Пока я молод, я хочу попробовать силы в Америке". Как правило, речь идет о науке.

15. "Да, в Америке можно столкнуться с антисемитизмом. Но в большой стране можно выбрать, с кем общаться, в конце концов, переехать. В маленьком Израиле некуда деться от неприятных тебе людей".

16. "Я хочу, чтобы мой сын получил хорошее образование".

17. "Самое главное — уехать отсюда. В Израиль я всегда успею. Из Америки в Израиль всегда можно переехать и притом не голым и босым, а с долларами в кармане. Из Израиля же не вырваться".

18. "Я хочу жить в Америке, хорошо зарабатывать и помогать Израилю. А так я приеду в Израиль нахлебником. Конечно, живя в Штатах, я принесу больше пользы Израилю".

19. "В Израиль я приеду позже, заработав деньги, сделав себе имя, перестав нуждаться в помощи".

20. "В Израиль надо все везти с собой. А в Америке все дают".

21. "Ехать в Штаты надо хотя бы для того, чтобы по дороге посмотреть Европу".

22. "Ты умеешь зарабатывать на жизнь только умственным трудом. Ты живешь тем, что ты способнее других. Умнее кого же ты будешь в Израиле?"

23. "У меня русская жена". Известно ли, какую долю среди ношрим занимают смешанные и вполне нееврейские семьи?

24. "Я не чувствую себя евреем".

25. "Я не люблю евреев, когда их много".

После такого музыкального винегрета хочется послушать какую-нибудь мелодию, лучше всего еврейскую. Такой подарок сделали мне неожиданно для себя мои хайфские друзья. Они показали мне фотографию: один выпуск одного из факультетов Техниона. Человек 50 молодых евреев, вместе учившихся в прекрасном вузе. Эти лица — лучшая агитация для всякого знающего или понимающего советскую жизнь. Некоторым, впрочем, хватает фантазии на то, чтобы представить себе и это, и многое другое. Они спорят и с будущими ношрим, а еще больше — между собой, они добывают потрепанные "Элеф милим", получают письма и по возможности не продают перед отъездом книги. Они приезжают в Израиль. Меня еще ни разу не спросили о мотивах, которыми они руководствуются.

*Александр Вейнберг  
(репатриировался в 1979 г.,  
живет в центре абсорбции  
в Иерусалиме)*

## ДЕЛО КАЖДОГО

Известную проблему мне, только что прибывшему из Москвы химику-органику, хочется обсудить, используя методологию перехода от частного к общему. Около года назад я послал по почте в Израиль своим друзьям и родным письма с моими предложениями, списком научных трудов и необходимыми биографическими данными. Это общепринятая на Западе система поиска работы для ученых. Двое израильтян — мой старый московский товарищ, оле с семилетним стажем, и двоюродный брат, сабра, — откликнулись. Они передали мои данные в Сохнут и в Министерство абсорбции. В ходе последующей переписки я высылал все дополнительно требующиеся данные. Конечным результатом было оптимистическое письмо моего товарища о том, что я и моя жена — тоже химик — можем абсолютно не беспокоиться, так как нам обеспечена работа в соответствии с нашей квалификацией при одном из университетов Израйля.

Незадолго до отъезда из Москвы я посетил Международную книжную ярмарку на ВДНХ и беседовал с 38-летним израильтянином, саброй, который официально представлял на выставке израильские издательства и имел многочисленные контакты с советскими евреями. Эта беседа подействовала на меня, как отрезвляющий душ. Он выступал, как предельно равнодушный человек, которого не интересует проблема ношрим и который считает, что если у еврея в сердце живет природная тяга к Израйлю, то он сюда придет, а если нет, то пусть едет, куда хочет, и в этом последнем случае судьба такого еврея его, израильтянина, не интересует.

Я, конечно, понимал, что как полнейшее безразличие какого-то неизвестного мне работника Сохнута к судьбе советского еврея, желающего

найти себе адекватное его возможностям место в израильском обществе, так и полнейшее равнодушие какого-то случайного представителя израильских издательств на выставке в Москве не следует обобщать, что Израиль демократическое государство, в котором каждый человек имеет право занимать любую независимую собственную позицию по любому вопросу. Однако так уж устроен средний человек, что решения свои он чаще всего принимает, не исходя из строго рациональных концепций, а под влиянием иногда трудно поддающихся определению эмоциональных факторов. И вот я решил ехать в США — страну с самой передовой технологией, страну беженцев, которые, как недавно сказал государственный секретарь Вэнс, создали своим трудом и своим талантом богатства Америки. Из Америки многие мои друзья, попавшие туда в последние 3-4 года, писали о достигнутом ими благополучии, о преимуществах американского варианта перед израильским, о серьезных трудностях Израиля, что также подтверждалось русской израильской литературой, которая попадала в Москву.

Моя семья прилетела в Вену 21 сентября. На аэродроме я сказал представителю Сохнута, что мы едем в США, и мы были размещены во вполне приличной, опять же с точки зрения среднего советского еврея, гостинице в одной квартире с очень приятной интеллигентной семьей из Смоленска, состоящей из двух врачей-терапевтов с 30-летним стажем, 55 лет, их 20-летней дочери, закончившей 1 курс медицинского института, и бабушки-пенсиионерки. Из бесед с этими людьми выяснилось, что они — первые еврей-эмигранты из Смоленска, что они полностью были лишены еврейской среды, что они ничего, абсолютно ничего не знают об Израиле, о еврейской культуре, религии, истории. Они едут в США, зная, что там они никогда уже не смогут работать по специальности — лечить людей. Они рассматривают это как необходимую жертву, на которую они идут ради счастья своей дочери — достаточно типичной избалованной еврейской девочки в галуте. Представители Сохнута, в частности доктор Юлий Нудельман, объясняли им, что их ждет в Израиле. Он гарантировал им работу по специальности через три месяца, высокий стандарт жизни, престижность положения, возможность получения высшего образования для дочери. Однако сейчас они уже в Риме, а к моменту, когда статья будет опубликована, эта семья русских евреев, которая очень во многом могла бы быть полезной нам здесь, скорей всего уже столкнулась с американским образом жизни во всем его противоречивом великолепии.

В первой беседе с Наташей Агроскин, Саней Авербухом, Юлием Нудельманом и Мишей Глузманом, которые, на мое счастье, с блеском представляли Сохнут в Вене, я изложил всю историю моих попыток найти какую-то определенную работу в Израиле и объяснил, какую роль сыграли встреченные мной пассивность и равнодушие в моем решении ехать мимо. В их лице, однако, я встретил столь искреннее желание помочь мне и моей семье в поиске пути, столь несомненную духовную близость, что называется, понимание с полуслова, что это вызвало во мне сомнение в правильности принятого в Москве решения. Телекс в Иерусалим с моими данными и ответный телекс показали в дополнение к этому, что мною заинтересовались две весьма солидные организации.

Параллельные неизбежные беседы с попутчиками подтвердили первые

наблюдения о том, что в подавляющем большинстве случаев их решение ехать мимо не было результатом свободного выбора людей, определяющих свой путь на основе тщательного анализа всех за и против. Отнюдь. Это типичная толпа с психологией толпы, движущаяся иррационально в надежде найти свое счастье в Новом Свете, как это было во все времена после Колумба. Может быть, это движение является реализацией какого-то пока что нам не ясного замысла Божьего? Может быть.

Но мы — русские евреи третьей волны иммиграции — не можем, с моей точки зрения, взирая на происходящий процесс с позиции беспристрастного философского обобщения. Ведь то, что сейчас происходит, наносит серьезнейший ущерб этим несчастным людям, Израилю, евреям, находящимся в галуте. В настоящее время, я утверждаю это со всей определенностью, подавляющее большинство московских евреев — врачей, ученых, художников, музыкантов — цвет московской еврейской интеллигенции, собирается уезжать из России, собирается ехать в США, Канаду и другие страны, но не в Израиль.

Говорят, что в Израиле вновь прибывшие олим очень быстро забывают о своих друзьях в СССР, быстро абсорбируются израильским обществом и теряют это страстное чувство солидарности и сострадания к тому огромному большинству русских евреев, которые еще остаются в России. Возможно это так, возможно, что так будет и со мной. Но сейчас, через четыре дня после моего счастливого приезда на родину, наряду с опьяняющим чувством свободы и несомненным ощущением однозначной для меня и моей семьи правильности избранного с таким трудом пути, меня обуревают боль за близких мне людей, которые все еще там в Москве и которые уедут из СССР, но проскочат мимо и, кто знает, может быть, так никогда и не узнает, что они потеряли.

Мои предложения в настоящий момент очень просты. Во-первых, необходимо, совершенно необходимо для всех русских олим, в которых еще теплится сострадание к своим братьям в СССР, возобновить или расширить переписку. В письмах не нужно деклараций, не нужно высокопарных слов, от которых мутит, так как особенностью русского еврея сегодня является состояние идеологической измордованности. Надо писать правду об израильской жизни во всей полноте, но с учетом особенностей каждого конкретного корреспондента. Необходим личностный индивидуализированный подход к каждому человеку, такой подход, который совершенно не в состоянии обеспечить никакая самая утонченная пропаганда. Во-вторых, необходимо существенно улучшить информационный поток, поступающий в СССР.

В-третьих, необходимо существенно улучшить работу Сохнута, чтобы полностью исключить такого рода медлительность, я бы даже сказал преступную медлительность. Работа этого ответственного учреждения, работающего на деньги мирового еврейства, должна быть образцом оперативности, четкости, доброжелательности. И для достижения этих целей важны люди. Если бы не те четыре израильтянина — русских яврея, которые с полной отдачей делали свое дело в Вене, я бы разделил сомнительную участь беженцев. Если бы мои предложения попали в Сохнут к любому из этих людей, нет сомнений — я бы без колебаний ехал в Израиль, а не вынужден бы

был поворачивать в Вене, что достаточно сложно даже по чисто техническим причинам.

В-четвертых, мне кажется важным в переписке с русскими евреями пытаться возбудить у них интерес к ведению предварительных переговоров из Москвы, Ленинграда и т. п. с работодателями в Израиле. Оперативно обрабатывать поступающие предложения и (сроки получения разрешения в Москве, например, достигают одного года) давать встречные. С моей точки зрения, никак нельзя становиться на позицию 38-летнего сабры, надо активно и внимательно работать с каждым человеком и не ждать только лишь идейных, фанатически преданных Израилю людей. Пусть они приедут сюда, пусть получат работу по специальности, встретят доброжелательность и теплоту израильского народа — и они полюбят свою родину.

И последнее, что я хотел сказать в этой статье новейшего оле. Если без промедлений не будут предприняты решительные меры, допустимые в рамках демократического общества, мы потеряем московскую и ленинградскую алию. Мы потеряем самую культурную, самую квалифицированную часть русского еврейства, мы потеряем близких нам людей, приезд которых в Израиль мог бы значительно изменить спектр израильской общественной, научной, творческой и политической жизни. Я пока что, как вы понимаете, имею весьма приблизительное представление об особенностях израильских проблем, но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что проблема ношрим является одной из серьезнейших и болезненных и непрерывные попытки ее решения будут долго оставаться важнейшим элементом жизни русских олим.

*Наум Вайман  
(репатриировался из СССР  
в 1977 г., живет и работает  
в Тель-Авиве)*

## РАЗГОВОРЧИКИ

Смешная штука — Свобода!

Капитан смотрит на тебя так ласково-ласково, как кот на мышку, которой бежать некуда, даже лапу на спинку кладет и коготками пробует. Что, щекотно? А? Смешно, да? Вот захочу, вот так вот дерну и шкурка твоя на когтях повиснет, а? Холодно будет без шкурки? Больно, а? Хе-хе. Смешно, да? А я тебя отпускаю. Ага. К тете в Израиль, хе-хе. А?

И ты хихикаешь заискивающе. Конечно, смешно, господин кот, хе-хе... Вот вчера бы еще съел, а сегодня ... хе-хе, вот как, хе-хе, гуманность, свобода...

А по дороге к самолету мыши переглядываются, глаза шальные, говорить боятся. Неужто в самом деле? Или это игра такая новая, современная? Да,

в самолет посадят, а вот куда посадят самолет? Да нет, не может быть! Как это не может быть?!

Но вот уже где-то сели... Написано кругом не по-русски, и харя немецкая с автоматом. Все, выбрались!

Свобода! А? Свобода!! Какое дело, братцы, сделали, а?! Ведь герои, а?! Нет, смех смехом, а ведь большее дело сделали, выбрались, не побоялись! Рабиневичи-то сидят, боятся. Досидят, дождутся, прикроют щелку-то. А мы все бросили, налаженную и, не будем лицемерить, неплохо налаженную жизнь, родных и друзей, родные березки, церквушки, снежок, водочку, душевные разговоры — все бросили. Ничего не пожалели, голые вышли, с одними двадцатью чемоданами. И вот награда — Свобода! Да. Ну, выбрались, но еще не добрались...

В Израиль?

Эх, Израиль! Бедное мое еврейское сердце! Еще дедушка говорил: да отсохнет моя рука, если забуду тебя, Иерусалим! Бедный дедушка, как он мечтал об этом... Нет, какие все-таки молодцы вы, что едете в Израиль! Какие молодцы! Молодая семья, с ребенком, ведь там очень, очень нужны люди! Мы должны заселять страну, развивать, осваивать. И никаких поблажек арабам! Вон тот мужчина лет семидесяти тоже кажется с вами? Один, ведь надо же! А вот это уже нехорошо, нехорошо, непорядочно. Сами в Америку, а старуху мать в Израиль. Нет, это уже... А, она к дочери? Дочь в Израиле? Ну тогда совсем другое дело. Нет, понятно, что ей там будет лучше, конечно. А вот еще старики, милые такие, деревние, жмутся чего-то, стесняются. Тсс, что ты, жлоб, пасть раззявил? Радоваться надо и молиться, чтоб побольше в Израиль ехало, а не издеваться! Ну и очень плохо, что весь самолет в другую сторону!

Вот ведь дурак. Куда лучше б было, если б ехали в обратной пропорции... И Нью-Йорк нас бы одних встречал. С оркестром. Правда, Мусик?

Вот Мусик ни в какую не хочет ехать в Израиль. Не зря дедушка говорил... А может, поедет, Мусик, в Израиль? Море, арбузы, говорят, сладкие... Ну что писал Саша плохие письма, теперь-то у него все в порядке... Ну что Семе две тысячи долларов! Не в деньгах, Мусик, счастье. Зато среди своих будем, никто жидом не обзовет. Миша с Катей будут по-еврейски читать, хе-хе... Если б дедушка дожил... Ну почему, Мусик, евреи сволочной народ? Ты не права, нельзя так огульно. Мы ведь с тобой тоже вроде как... Ну что английский, английский..., ну почему нет культуры? Можно и английский там выучить, будут знать и иврит, и английский. Ну уж ты скажешь, даже немецкий, слышать это не могу. Это же лай овчарок, а не язык. Чтоб дети стали немцами, дома по-немецки?! Хорошо, что твои бабка с дедом тебя не слышат. Жить среди немцев?! Ну и что, что австрияки помогают? Ну и что, что Абрамсоны купили домик в Альпах? Да наплевать на все их льготы! Да и кто тебя пустит в Германию?

Разве бабка твоя была немецкой подданной? Почему ты мне этого раньше... Из Риги эвакуировались?.. А документов ведь нет? Что адрес, жив ли еще этот мужчина? А если подтвердит? Да? Ну не знаю... Я уж так настроился на Америку... Там община сильная, мы же все-таки как ни как... Ну это еще вопрос. Станем немцами, дети станут немцами, а потом придет новый Гитлер и опять начнут копать родословную. Ну почему тогда в Израиль?

Ведь решили уже в Америку. Ну что значит быть или не быть евреями. А что ты хочешь, вся наша жизнь — компромисс. Ну ты уже психовать начинаешь. Мы так заметаемся. Может, лучше всего сейчас быть китайцами, так что теперь сделаешь... Нет, никакой Австралии — в Америку! Ну там посмотрим.

Мы? Мы в Америку. Что значит по какой причине? Я вам отчитываться не обязан. Мы теперь в свободном мире.

А что вы мне про израильскую визу, она мне нужна, как рыбке зонтик. Да можете ей подавиться!

*Михаил Агурский  
(репатрировался из СССР  
в 1974 г., живет и работает  
в Иерусалиме)*

## НЕШИРА — ОРГАНИЗОВАННАЯ ПОЛИТИКА

Каждое из объяснений неширы частично справедливо. Но все они не учитывают одной из главных — или самой главной — причины. Долгое время она искусно скрывалась от наиболее активных в сионистском движении людей. Потрясающая реальность заключается в том, что существует намеренная политика определенных кругов американского общества, направленная на предотвращение иммиграции советских евреев в Израиль. Эта политика не поддерживается всеми без исключения — ее поддерживают так называемые протетантные круги.

Хорошо известно, что несколько сот советских еврейских активистов, поддерживаемые одно время западной прессой и сионистскими кругами, вместе с сенаторами Джэксоном и Ваником сумели добиться принятия поправки, названной их именем. Эта демонстрация силы советского еврейства насторожила детантников. Они решили, что такая ситуация нетерпима. Как смеет кучка советских евреев играть американскими национальными интересами (здесь они отождествляли свои личные интересы с национальными)? Так, в 1974 году несионистское движение в СССР пришло в конфликт с очень влиятельными американскими силами. Было бы удивительно, если бы эти силы не попытались повлиять на ситуацию. В этом они могли рассчитывать на поддержку Советского Союза, поскольку у них был общий враг — сионистское движение.

Прежде всего необходимо было изолировать московских отказников как руководящую силу движения. Первое брожение в их среде было спровоцировано уже через несколько дней после принятия поправки Джэксона. Конечно, оно было спровоцировано КГБ, но показательно, что неожиданно такому мелкому факту, как разногласия в группе московских отказников, было уделено в американской прессе такое же внимание, как, например, трениям в советской или китайской компартиях. Понятно, что эта реклама была сделана под влиянием детантников, полагавших, что московские активисты-сионисты ухудшат советско-американские отношения. Таким образом, с одной стороны, КГБ в 1975–76 гг. практически сокру-

шило отказников, а, с другой – влиятельные американские круги постарались заглушить их голос на Западе.

Но проблема была не только в активистах. Речь шла о всем сионистском движении. Если допустить, что сотни мессианских и антикоммунистически настроенных советских евреев оказали такое влияние на американскую политику, то что будет, если сотни тысяч их окажутся в Израиле? Они станут влиятельным лобби, которое окажет значительное влияние на израильскую политическую жизнь. Вместо детанта они смогут с помощью американского еврейского лобби втянуть Америку в грозный конфликт с СССР.

В 1973 году уже стало очевидно, что израильское рабочее правительство не может привлечь русскую алию. Хотя сами евреи абсорбировались более или менее успешно, их лидеров не принимали на правах равных партнеров. Израильский политический истеблишмент был слишком окостеневшим для этого. К тому же эти лидеры рассматривались как смутьяны. Конечно, истеблишмент хотел алию, но он не хотел ее как отдельную политическую силу. Он не понимал, что это был основной путь, способствовавший алии. Прилагались большие усилия, чтобы устранить от политической деятельности таких признанных лидеров алии, как Польский, Лунц, Гельфонд, Занд и другие. Это было большой потерей для страны. Политическую поддержку оказали только различным марионеточным организациям с их псевдополитической активностью. В отличие от первой и второй алии была прервана непрерывность руководства.

В результате большинство русских олим решили поддержать Ликуд. Детантники получили все основания считать, что они сдвинули политическое равновесие в Израиле в сторону крайне правой партии. Они не могли подозревать, что Бегин вдруг окажется голубем. Между тем недовольство русской алии было легко использовать таким людям, как Флатто-Шарон. Последствия выборов были тяжелыми. Новое правительство изолировало русскую алию еще больше, чем прежнее. Оно не выполнило ни одного из своих обещаний и даже стало источником коррупции, начав поддерживать различных махинаторов и даже людей с уголовным прошлым среди русских евреев ("Гаарец", 5.4.79). Пренебрежение нового правительства к русской алии выразилось и в том, что оно закрыло единственный русский еженедельный журнал "Неделя в Израиле" антимаараховского направления.

Все это было своевременно замечено детанниками, которые получили теперь возможность лучше использовать средство, которым пренебрегли израильтяне: русскую печать в Израиле. Детантники могли думать, что отвергнутая и Маарахом, и Ликудом русская алия захочет стать независимой политической силой. А такая перспектива представлялась для них кошмаром. Пытаться предотвратить ее путем приостановки алии из СССР было опасно, потому что детантники понимали, что еврейский вопрос мешает советско-американским отношениям. Поэтому они решили, что нужно помочь Советам избавиться от недовольных евреев, но не дать им сосредоточиться в Израиле. Этого можно было достичь с помощью двух средств: во-первых, облегчить доступ советским евреям в США, для чего были устранены всякие иммиграционные квоты. Во-вторых, с помощью

но все же для значительного числа русских олим, ибо более половины из них профессионалы своего дела) — это надежда на возможность получить финансового подкупа потенциальных эмигрантов удалось представить США более привлекательным выбором, чем бедный Израиль.

Судьба алии была решена без боя. Единственным местом сражения осталась русская эмигрантская пресса, которая могла стать препятствием для замыслов детантников, несмотря на массивированный подкуп советских евреев. Это был настоящий бой, ибо детанникам нужно было предостеречь влияние сионизма на русских евреев, из-за которого они могли выбрать Израиль. Поэтому прежде всего радиостанции “Свобода” и “Голос Америки” исключили из своих передач всякое сионистское влияние. Такая политика была немедленно поддержана Советским Союзом, который возлагал вину за подстрекательство к эмиграции евреев только на Израиль, но не на западные страны. Таким образом, в том, что касалось выбора дальнейшего пути, многие советские евреи оказались уже в СССР запрограммированы как советской, так и американской пропагандой.

Затем детантники начали поддерживать любых еврейских антисионистов, едва лишь они появлялись на политической сцене. Один из лучших примеров тому судьба Эфраима Севелы, который в своей книге “Прощай, Израиль” открыто потребовал уничтожения еврейского государства. Даже антиизраильская французская “Нуэль обсерватер” не поверила ни единому его слову, но еврейский журнал “Комментари” в США напечатал сочувственную рецензию активиста “Амнести интернешнл” Иошуа Розенфельда. Кто-то тотчас организовал Севеле рекламу в Европе и США, лекционное турне и т. д.

Те же круги пытались повлиять на русскую прессу, чтобы устранить с ее страниц советское влияние. К сожалению, они преуспели настолько, что побудили редактора одного из популярных журналов “Время и мы” В. Перельмана заявить на лекции в Колумбийском университете, что его журнал является несионистским и что национализм — опасное явление нашего мира. Перельман заявил, что израильтяне не верят в сионизм и что сионизм нужен только истеблишменту, чтобы держать население под своим контролем. Он добавил, что жизнь советских евреев в США лучше, чем в Израиле.

Израильское общество недооценивает значение русской прессы в Израиле. Быть может, на ее страницах решается судьба нашей страны. Это понимают лишь такие люди, как Надель и Мириам Таль, но их единицы. Сегодня ситуация исключительно опасная. Подрываются самые основы нашего государства. Влиятельные элементы США, страны, которую мы считаем дружественной, испуганы возможностью сионистского возрождения, которое, как они считают, угрожает их интересам. Эта политика опасна прежде всего для самих США. Детантники пытаются сделать в Израиле то, что они уже сделали в Иране, приведя Хомейни к власти своими глупыми безрассудными действиями.

Сионизм — фундамент Израиля, и без него страна не выживет. Но я не собираюсь убеждать американцев в полезности Израиля. Мы одни из их немногих настоящих союзников. Израиль не клиент, а равноправный поли-

тический партнер. Если восторжествует политика разрушения сионистского движения в СССР путем его подкупа и разложения, мы не сможем молчать, ибо это угрожает нашему национальному существованию. Но можно надеяться на то, что в Америке найдутся силы, которые выступят против такой политики, и наша задача объяснить им, что детантники угрожают нашему национальному существованию. Бывший советский еврей, занимающийся ныне делами неширы, сказал мне: "Если мы не решим проблему неширы сегодня, через год мы потеряем русскую алию совсем".

*Александр Воронель  
(репатрировался из СССР  
в 1974 г., живет и работает  
в Тель-Авиве)*

## **УЛУЧШИТЬ АБСОРБЦИЮ — УМЕНЬШИТЬ НЕШИРУ**

Говоря о нешире, наше правительство занимается обманом или в лучшем случае самообманом, ибо в сущности оно ограничивает алию: при нынешнем положении вещей мы не можем принять большую алию. Правительство провозглашает одно, а делает другое. Такой подход я не могу ни принять, ни понять. Вообразим, что неширы нет и что все советские евреи приезжают в Израиль. Пять тысяч человек ежемесячно. На конец еврейского Нового года в центрах абсорбции проживало 16 тысяч человек, и мест больше нет. Люди живут там в ожидании квартир годами. Это означает, что селить новых репатриантов некуда. Хотим мы массовую алию или нет? Если хотим, но можем предложить только временные квартиры и трудную жизнь, то кто же захочет к нам ехать? Ведь почти все советские сионисты уже здесь, и во всех случаях это не большинство алии. Сионисты никогда не составляли большинства ни в одной группе еврейства, разве что в американской, но там это такие сионисты, которые все еще сидят в Америке. Значит, мы должны говорить о простых людях. Большинство русских евреев впервые услышало о сионизме после подачи заявления в ОВИР — в синагоге или уже в Вене. От них нельзя ожидать пионерского духа.

Если мы будем достаточно реалистичны, мы не скажем, что лучше сто человек в Кирьят-Шмона, чем тысяча в Тель-Авиве. Да и не так стоит выбирать. Что лучше: полмиллиона русских евреев в Чикаго или в Тель-Авиве. Я предпочитаю видеть их в Тель-Авиве.

Давайте поговорим о мотивациях этих простых людей. Не будем говорить о материальных стимулах — мы не можем конкурировать в этом с Америкой. Нет сомнений в том, что в Америке жизненный уровень выше. Но есть другой очень существенный мотив: родственные связи и ощущение того, что ты живешь среди своих. Так вот, этот самый существенный мотив мы уничтожаем. Люди приезжают сюда, желая жить со своими родными, а в Лоде им в этом отказывают. Тех, у кого родственники в Ашкелоне, посылают в Хайфу, и наоборот. Третий мотив (не для большинства,

работу по специальности, проявить на ней свой профессионализм, свою творческую потенцию, осуществить свои идеи. Многие из таких людей покинули Израиль, потому что не получили этих возможностей. Эта борьба еще не проиграна, потому что здесь ситуация все же лучше, чем в Америке. Но равновесие это шаткое, ибо американская община тоже не сидит сложа руки: она помогает русским евреям. Это линия боя — слишком многое зависит от настроения в обществе, от того, как оно принимает новых иммигрантов, как смотрит на них — как на друзей и союзников или как на бремя и конкурентов в вопросах жилья и работы.

Проблема русской алии на наших глазах изменила свой характер. Алия уже не состоит из беженцев. Она сама выбирает момент для эмиграции и ее направление. Поэтому мы должны думать о том, как ее привлечь. Этого не добьешься только пропагандой. Мы должны продемонстрировать нашу добрую волю, встречать их на полпути.

*Виктор Польский*  
(репатриировался из СССР  
в 1974 г., живет и работает  
в Тель-Авиве)

## ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА — ЖИЛИЩНАЯ

Сегодня в стране сто пятьдесят тысяч репатриантов из Советского Союза. Нельзя сказать, что это не массовая алия: она составляет пять процентов населения страны. И большинство этих людей абсорбировалось хорошо: все они имеют квартиры, работу или пенсии. Но до сих пор 16 тысяч человек живут в центрах абсорбции, на временных квартирах и ждут жилья постоянного. И если на нас сейчас внезапно свалится большая алия, если в течение двух-трех лет в страну приедут сто тысяч новых олим, то мы, Государство Израиль, не в состоянии их принять. И главная проблема здесь — жилищная. Нет проблемы трудоустройства, нет безработицы среди олим, как нет ее во всей стране. Не вызывает сомнения тот факт, что громадный процент олим хорошо интегрировался в Израиле. Но меня беспокоит еще не сделанное, не спланированное и порой безвозвратно утерянное, то, что заставляет испытывать глубокое чувство огорчения и разочарования — не тем, что мы приехали в Израиль, а тем отношением к олим и к алии, которое мы встретили и встречаем в Израиле.

Это не новая проблема. Еще в 1974 году нешира была крохотная. Когда мы прибыли в страну, нешира составляла всего двадцать процентов. И с первого мгновения, с первой встречи с израильянами мы говорили о том, какой опасностью это может стать в будущем. Теперь мы стоим перед катастрофой: нешира составляет семьдесят процентов. Нешира из больших городов составляет девяносто процентов. Это наше национальное бедствие. Правительство Израиля в течение последних лет ничего не сделало для уменьшения неширы. Еврейское агентство в самом начале, в 1972—73 гг., позволило ХИАСУ и Джойнту “влезть” в Вену и заняться там обслуживанием ношрим. Только сейчас разработана программа рабо-

ты с ношрим и уже есть первые результаты: приезд групп ношрим и их детей из Рима. Израиль произвел на них огромное впечатление. Мы не ожидали, что они немедленно останутся здесь, но это впечатление тоже очень важно.

В этом году из СССР выедет около 50 тысяч человек — такого еще не было в нашей истории. Даже в пиковый 1973 год исход составил 35 тысяч. И мы знаем, что сегодня нет другого источника массовой алии, кроме СССР. И эту алию мы теряем. Только двадцать процентов ее, возможно, приедет в Страну.

Центральная проблема в борьбе за абсорбцию, повторяю, — жилищная. В 1974 году строилось 160 тысяч единиц жилья. С тех пор число строящихся квартир постоянно уменьшается. Если такая линия будет продолжаться, то можно сказать определенно, что в Израиле не будет олим из СССР. Это означает, что израильское правительство закрывает страну для новых иммигрантов, что оно занимается обманом. Мы говорим евреям в СССР, что ждем их, что мы за рост алии, мы требуем от правительства США бороться за облегчение выезда из СССР, но мы не можем организовать ее прием, мы закрываем страну для приезда евреев на несколько лет. Правительство должно сказать правду: оно сможет принимать алию только после того, как закончится процесс установления мира.

Мы должны прекратить поносить евреев из Советского Союза за то, что они не приезжают сюда, что они только используют израильские визы и еврейские деньги для того, чтобы выехать из России, что они только используют наши усилия и проезжают мимо. Среди олим из СССР существует гнетущее ощущение того, что правительство Израиля не хочет алии. Сегодня государство должно начать строительство 50 тысяч единиц жилья, и это при условии, что нешира останется на прежнем уровне, что не будет резкого увеличения алии, что останется нынешний уровень — примерно десять тысяч семей в год из всех стран. Ну, а если приедут все 50 тысяч русских эмигрантов?

Вот что должна знать израильская общественность:

бесконечно откладывается решение о реорганизации центральных органов абсорбции, что пагубно отражается на процессе абсорбции олим и разлагающе действует на существующий персонал органов абсорбции;

в районах, способных обеспечить олим работой, нет квартир;

продолжается насильственное распределение олим по районам страны без учета их желаний, связи с родными, возможностями трудоустройства и т. д.;

продолжается нетерпимый порядок приема и оформления олим в Лодде, проводимый в ночное время;

чиновники, зарекомендовавшие себя в течение многих лет преступно-негативным отношением к олим, продолжают распоряжаться судьбой тысяч олим;

в прямой связи с перечисленным выше нешира приняла за последние годы размеры катастрофы, предотвратить которую почти невозможно.

Известно, что "эмиграция вызывает эмиграцию". Можно полагать, что через два-три года число советских евреев в США вырастет до 170—200 тысяч, то есть превысит (!!!) общее число олим из СССР в Израиле за по-

следние десять лет. На фоне этой стремительно развивающейся катастрофы со стороны Израиля не было предпринято никаких действий по уменьшению неширы, и до сих пор нет ни одной программы или плана в этом направлении.

Факт громадной неширы обескураживающе и деморализующе действует на израильское общество: "Если даже евреи России не считают теперь возможным приехать в Израиль, значит, мы утратили притягательную силу, которая влекла и уже привлекла 150 тысяч евреев СССР". Фактом неширы ставится под сомнение основная концепция сионизма, положенная в основу создания Государства Израиль, как национального очага еврейского народа, и в первую очередь для евреев, вынужденных из-за преследований покинуть прежний галут. И вот теперь мы являемся свидетелями того, как громадные массы евреев переселяются из одного галута (СССР) в другой галут (США), пренебрегая национальным очагом. Такой нелепой и уродливой ситуации еще не было за всю историю государства. Может быть, Израилю суждено навсегда остаться национальным очагом только для одной пятой части еврейского народа?

Алия остается великой национальной задачей Израиля и всего еврейского народа!

*Борис Шилькрат  
(Израиль)*

## **ЗАПРЕТЫ ТОЛЬКО СПОСОБСТВУЮТ НЕШИРЕ**

Как бороться с неширой? Наша административно-бюрократическая машина выдала простое и привычное решение — запретить! Но как? Как сочетать запрет с демократией? Очень просто: кто хочет ехать в США, пусть требует визу в США. Или еще проще: заставить всех приехать в Израиль, а отсюда пусть уезжают кто куда хочет. Здесь будет время подумать, поработать и спасти часть из них.

И у наших бюрократов-демократов нашлось немало сторонников среди активистов алии, движимых рудиментами рабской психологии. Э. Кузнецов, например, считает, что такое решение "достаточно демократично и процедурно верно". В. Польский ("Освободите нас от свободы", "Наша страна", 2.7.79) с умилением приводит заявления ношрим: "Освободите нас от свободы выбора! Если бы можно было ехать только в Израиль, многие из нас почувствовали бы облегчение". Ах, как же все-таки рабство в нас глубоко сидит! "Заставьте нас", — вопиют рабы. И вместо того, чтобы крикнуть им: "Прочь, презренные рабы, выбирайте сами!" — наши "демократы" задумались: а как бы действительно заставить, только поделикатнее.

К чему приведет перевод лагеря беженцев из Рима в Израиль? К тому, что не уменьшит неширу, а увеличит ее. Если раньше перед всяким подающим заявление о выезде была свобода выбора, то теперь ее не будет, и

тот, кто поедет в Израиль, поедет туда с сознанием, что его насилуют, а это наверняка отпугнет тысячи других. Просто перестанут подавать заявления о выезде. Что лучше для еврейского народа: чтобы евреи уезжали в США или оставались в СССР?

Но почему же, возразите вы, ведь из Израиля они смогут уехать, куда захотят. Потому что это мы знаем, что они смогут уехать, а они-то этого не знают. Могучая советская пропаганда твердит им денно и ночью о том, что Израиль — это фашизм или того похуже. В киббуц загонят! Если уж вы, г-н Польский, этому бедному еврею в Вене и в Риме не можете растолковать, что ни в какой киббуц его не загонят, то как вы это растолкуете тем, кто еще в СССР?

Лагерь беженцев (а у ношрим статус беженцев) в Израиле создаст дополнительные проблемы. Известно, что далеко не сразу наши "братья-римляне" получают путевку в Штаты или в другие страны. И стонут они там и плачут, но стенания эти вавилонские нам не слышны. Нас они не касаются. Мы тут совершенно ни при чем. Ругают ХИАС, Джойнт, дядюшку Сэма, западный мир, но только не Израиль. Когда все эти стенания переедут к нам, то и адрес этих стенаний изменится. К хору плачущих олим (который сыграл немалую роль в росте неширы) присоединится мощный хорал ревущих еврейских беженцев. Бедный Израиль — выдержит ли он это? Уж его пропесочат и в хвост, и в гриву, как тут сохранить привлекательность Израиля для потенциальных олим?

Конечно, рассуждения о том, что произойдет, если... гипотетичны и трудно предусмотреть все факторы. Однако несомненно, что эксперимент, который собираются провести (а в серьезности намерений экспериментаторов, я думаю, мало кто сомневается, уж слишком влиятельная эта публика — от активистов алии до премьер-министра), опасен, и следует трижды все взвесить, прежде чем идти на него. Это вам не лаборатория физики, господа! Здесь процесс необратим. И то, что будет испорчено, уже трудно будет поправить.

Как правильно заметил Э. Кузнецов, надо "отказаться от иллюзий выдумать некий волшебный ход, чтобы съесть все черные шашки и вмиг выйти в дамки. Надо ориентироваться на долгосрочную программу". Жаль, что сам он не устоял таки от соблазна пробраться в дамки. В двух упомянутых выше статьях есть много дельных предложений о борьбе с неширой, и именно такой путь, а не скоропалительные административные меры, приведет нас к значительному уменьшению неширы.

*Герман Брановер  
(профессор Беер-Шевского  
университета, руководитель  
Союза еврейской религиозной  
интеллигенции из СССР)*

**ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ**  
*("Джерузалем Пост", 29.10.79)*

*То, о чем спорили многие годы, сегодня стало реальностью. "Чудесная алия" советских евреев превратилась в побочное явление, сопровождающее массовую эмиграцию в Штаты.*

Советские евреи, следующие по маршруту Вена—Рим—Америка не называют себя "прямыми" и не чувствуют за собой вины. Они с гордостью именуют себя "людьми третьей эмиграции" и считают выбранный ими путь единственно правильным.

За последние годы около 70 тысяч советских евреев эмигрировало в Штаты. Вместе с другими ношрим они составляют более половины всех советских евреев, прибывших в Израиль за последние десять лет. Это не могло не встревожить руководителей американских еврейских организаций, равно как и руководителей Сохнута и израильского правительства, которые пришли к выводу о необходимости срочных действий.

Был предложен ряд мер: полное прекращение деятельности ХИАС, которая помогает ношрим деньгами и в получении въездных виз в Штаты; ограничение этой помощи только кругом тех советских евреев, которые имеют прямых родственников в Штатах; перенос венского транзитного пункта в Израиль, где эмигранты должны решать, остаются они здесь или предпочитают Америку.

Нельзя сомневаться в том, что авторы этих предложений руководствовались самыми лучшими намерениями. Нельзя также сомневаться в том, что при нешире в 80% какие-то меры должны быть предприняты срочно. Ведь этот процент неширы означает не только то, что идеалистическое движение алии выродилось в самое прозаичное стремление к материальным выгодам; оно означает нечто более трагическое.

Хотя одним из самых мощных мотивов эмиграции евреев из СССР является стремление избежать ассимиляции, многие из тех, кто эмигрировал в Штаты, ассимилируются там куда быстрее. В России антисемитизм и другие ограничения не дают еврею забыть о своем еврействе, тогда как в Штатах возможность стать "100%-ным американцем" полностью подрывает еврейские чувства (несмотря на доступность еврейского образования).

Поэтому есть все основания осуждать неширу и бороться с ней решительными административными мерами. Беда, однако, в том, что эти меры не могут помочь, потому что они исходят из иллюзий, а не из реального понимания происходящего. А реальное понимание требует оценки ситуации "изнутри", с точки зрения самих ношрим. И тут на первый план выступают два основных факта: 1) репатриация в Израиль при наличии "американской альтернативы" требует очень сильных еврейских чувств; людей с такими чувствами сейчас среди эмигрантов очень мало; 2) для всех прочих советских евреев альтернатива "Израиль или Штаты?" попросту не существует; для них существует иная альтернатива: "Штаты — или Россия?"

Если принять эти реальные факты, то легко увидеть, что предлагаемые административные меры не способны возродить алию из СССР.

Предположим, что деятельность ХИАС полностью прекращена. Советские евреи, которые собирались подавать на выезд, будут потрясены и возмущены. "Бесстыдное израильское правительство нас обмануло". Многие захотят выждать и посмотреть, как все обернется. Те, кто уже получил разрешение, придут в уныние, тем не менее большинство из них решат ехать. В Риме Толстовский фонд и другие миссионерские организации не-

слыханно обрадуются, решив, что пришел их час. Число евреев, едущих в Штаты, несколько упадет; число переходящих в христианство возрастет; число олим останется тем же.

Предположим, что в Штаты разрешено будет ехать лишь тем, кто имеет там ближайших родственников. События будут разворачиваться аналогично, только возникнут всякие способы "изобретения" фиктивных родичей; алия останется на том же уровне.

Наконец предположим, что все эмигранты вынуждены ехать в Израиль. Первый же вопрос: как разместить эти 50—60 тысяч человек в год? Уже сегодня отсутствие жилья и мест в центрах абсорбции стало чудовищным, и ситуация только ухудшается. Но допустим, что их все же как-то разместили. Они кипят от возмущения. Как посмели израильтяне привезти их сюда? Враждебно настроенные, они все видят в мрачном свете. Сотни тысяч негодующих писем каждую неделю уходят в Россию. Среди оставшихся в Ленинграде или Москве нарастает возмущение. Привезенные в Израиль решают бежать при первой возможности.

Чтобы убедиться, что все будет именно так, достаточно вспомнить, что из многих сотен ношрим, привезенных Сохнутом из Рима для экскурсии по Израилю, лишь считанные единицы решили остаться здесь. Все затраченные на эти поездки деньги и усилия оказались выброшенными на ветер.

Означает ли это, что нешира необратима? Да, если ситуация останется неизменной или будут приняты какие-либо из перечисленных выше мер. Нет, если восторжествует реалистический подход.

Есть только один способ убедить советских евреев ехать в Израиль вопреки уменьшению его привлекательности, вызванному экономическим и политическим хаосом, военной опасностью и эрозией еврейских ценностей. Способ этот — еврейское воспитание, еврейская мотивация, иными словами — тот же подход, который применяется в отношении американских и европейских евреев.

Этот подход кажется элементарным, но, поразительно, мало кто из еврейских лидеров, занимающихся проблемой советского еврейства, его понимает. Иное дело, что подход этот трудно реализовать. И во всяком случае он не даст быстрых результатов. Однако без него результатов вообще не будет. Поэтому главное сегодня — это отказаться от иллюзий и подойти к проблеме реалистически.

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Эта статья ни в коем случае не претендует быть научным или социологическим исследованием. Она не является и полностью нейтральной, о чем мы считаем долгом предупредить. Автор в значительной мере отождествляет себя с движением Мизрахи, а применительно к русскому еврейству главную опасность видит в том, что советско-еврейская интеллигенция — сознательно или бессознательно — испытала сильное воздействие христианства, особенно в его православной версии.

### **Иудаизм как идеология.**

Трудно сказать, подпадает ли иудаизм под какое-либо из классических или современных определений религии; скорее всего он вообще не является религией в обычном ее смысле — как некой обособленной части сознания. (При этом как бы подразумевается, что сознание разделено на несколько слабо связанных между собой отсеков, “интересов”: политических, эротических, научных, религиозных и прочее.) Иудаизм правильнее отнести к категории идеологий, причем в том тотальном смысле, в каком мы говорим, например, об идеологии Ренессанса, античности, нового времени и т. п. Иными словами, иудаизм касается всех сторон человеческой жизни и объединяет их в свою собственную оригинальную систему.

*Моше Бен-Нафтали*  
— математик,  
репатриант,  
проживает  
в Раанане.

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
КАРТА  
СОВРЕМЕННОГО  
ИУДАИЗМА**

Иудаизм — это активная идеология, диктующая образ жизни и мышления.

В христианстве (а также в консервативном и реформированном иудаизме) критерий религиозности чисто субъективный — нечто с трудом определяемое и именуемое верой. В иудаизме критерий религиозности — объективный; это — образ жизни, выполнение заповедей типа “делай — не делай”. Таким образом, можно сказать, что человек, выполняющий такой-то процент этих заповедей, “религиозен на столько-то процентов”, причем этот факт объективен. Напротив, в европейской традиции можно быть либо только полностью религиозным (верить), либо полностью атеистом (не верить), причем и то, и другое — чисто субъективные понятия.

Разумеется, в этом отношении нельзя переходить границы: существует определенный минимум заповедей, которые должен выполнять любой религиозный еврей: кашрут, три ежедневные молитвы, законы субботы и т. д. Но нам важно было подчеркнуть именно объективность критерия: ортодоксальный еврей не требует, чтобы его признали религиозным лишь на том основании, что он заявляет о своей вере (в отличие от христианства и реформированного иудаизма).

Нет ничего более противоречащего духу иудаизма, чем уход из жизни. Напротив, участие религиозного еврея в жизни не только допустимо, но в некоторых случаях прямо обязательно. А отсюда следует, что участие его в политической жизни также соответствует духу иудаизма. Поэтому наличие религиозных политических партий в еврейском народе — не нелепость, не случайность и не результат стремления защитить (посредством соглашений с другими партиями) религиозные институты. Еврейские религиозные партии столь же законны, как и всякие другие партии, построенные на идеологической основе, будь то партии социалистические, либеральные или иные. Правда, довольно распространено мнение, что социалистам, например, дозволено собираться в партии, а вот ортодоксальным евреям, напротив, нужно “знать свое место” и “не соваться в политику”, но это мнение, однако, заимствовано без всякой критики из европейской практики, где религия — в силу своего христианского облика — самоисключилась из жизни. В наших условиях эта точка зрения выглядит нелепо и недемократично.

“Чистую” идеологию следует отличать от ее практической реали-

зации, ограниченной всякого рода условиями. Это различие приводит к возникновению в любом идеологическом течении двух типов партий (или групп) — догматиков, стремящихся соблюсти идеологическую чистоту, и прагматиков, более склонных к компромиссам с действительностью. В израильских условиях эти последние узнаются по приставке “Поалей” (“Рабочие”): Поалей Агудат Исраэль, Поалей Мизрахи, Поалей Сион. (В этих словах нет и тени пренебрежения к этим партиям.)

**Агудат Исраэль.** В средневековом европейском обществе еврейство сумело занять свое особое место. Несмотря на свое бесправие, религиозную дискриминацию, экономическое угнетение, безжалостные преследования, оно сумело найти свои, особые формы развитой духовной, политической и экономической жизни. Однако с наступлением нового времени обстановка стала быстро меняться. Волны просветительства и национализма стали стучаться в еврейские дома, изменение экономической структуры мира вырывало из-под ног еврейства экономическую базу. Начался массовый отход от традиционного еврейского уклада, уход в социализм и либерализм; возникли еврейское просвещение и реформаторство. Естественно поэтому, что как реакция на эти явления в иудаизме образовалось охранительное течение — зародыш нынешней Агудат Исраэль.

Целью этого течения было устоять и выждать; не торопиться и не спешить за новшествами. (“Здрав штаны, бежать за комсомолом” — как охарактеризовал это состояние С. Есенин.) Свою задачу оно видело в том, чтобы “сохранить тлеющий уголь”, то есть служить живым примером для тех, кто захочет вернуться к иудаизму. Большим испытанием для этого течения стал сионизм. В целом, ортодоксальный иудаизм, разумеется, никогда не отказывался от твердой веры в то, что народ Израиля вернется в землю Израиля и что к этому возвращению надо быть постоянно готовыми. Но в вопросе о конкретной форме возвращения издавна существовали две разные традиции: одна утверждала, что возвращение осуществимо по пришествию Мессии; другая заявляла, что само возвращение должно предшествовать приходу Мессии. Однозначного мнения (галахи) по этому вопросу не было, и поэтому возникновение сионизма было принято с противоположными чувствами. Но даже и “сочувствующие” сионизму круги были отпугнуты его явно антирелигиозными установками (идеи Герцля, пионеров второй алии и социалистического сионизма). Мож-

но думать, что не будь этого, отношение Агудат Исраэль к сионизму было бы, наверняка, совершенно иным. Впрочем, следует заметить, что эти отношения — между Агудат Исраэль и сионизмом, а позднее Государством Израиль — были много более сложными и амбивалентными, чем это принято думать. Во всяком случае весьма отрадным является вступление Агудат Исраэль в нынешнюю правительственную коалицию.

**Поалей Агудат Исраэль, Хабад. Харидим.** Если Агудат Исраэль представляет собой по преимуществу религиозную “интеллигенцию”, то Поалей Агудат Исраэль объединила (по крайней мере, исторически) “простой” народ. Она является партией практического сионизма, несколько парадоксальным образом идеологически противостоящего сионизму теоретическому (разумеется, в первую очередь социалистическому). Она создала в Палестине относительно большое число кибуцов и мошавов и активно участвовала в Войне за независимость. С Агудат Исраэль ее объединяет прежде всего подчеркнутый консерватизм в религиозных вопросах. Тем не менее следует отметить, что в отношениях со светскими кругами она более “открыта”.

Совершенно особое положение занимает хасидское течение Хабад (сокращение от “хохма, бина, даат” — мудрость, разум, знание). Несмотря на то, что в шкале ценностей этого течения религия занимает первое место, оно является подчеркнуто сионистским. Его отличительной особенностью является открытая и широкая просветительская деятельность, направленная на ассимилированное и полуассимилированное еврейство. Впрочем, только недавно эта деятельность развернулась широко. Пока что ее основные успехи (по крайней мере, в русской среде) приходится на так называемую “малоинтеллигентную группу”. С другой стороны, Хабад имеет оригинальную и глубокую философию, привлекающую внимание многих видных ученых. Возможно, что его будущее еще впереди.

Все перечисленные партии и течения объединяют обычно термином “харидим”. Перевести его трудно: какое-то представление может дать термин “ультраортодоксальность” (во всяком случае принятые в русскоязычной прессе термины “набожность” или “фанатизм” просто неверны. Вообще, русская терминология чрезвычайно бедна и примитивна в религиозных вопросах). Эти партии имеют и внешние символы (частично общие с партией Мафдал) — черную кипу и молитву с традиционным произноше-

нием (ашкеназийским или сефардийским, смотря по общине). Имеется ошибочная тенденция отождествлять "харидим" с хасидами. Не вдаваясь в подробности, отметим, что хотя организованные хасидские движения действительно входят в это направление, оно включает (вероятно, не меньшее число) митнагдим\* и людей из общин Востока.

Помимо этих крупных партий "харидим" существуют еще сравнительно малочисленные группы, активно выступающие против сионизма во всех его видах и при всех условиях (и в этом они составляют странную параллель крайне левым течениям в современном еврействе). Речь идет о немногочисленном населении некоторых кварталов Иерусалима (в первую очередь — Меа Шаарим) и о более значительном хасидском движении равва из Сатмера (Венгрия) в США. Если говорить об Израиле, то влияние этих групп совершенно ничтожно. Оно было бы еще меньше, если бы средства информации не раздували каждый скандал вокруг них и если бы Меа Шаарим не служил одной из достопримечательностей израильской индустрии туризма.

**"Новаторские течения" в иудаизме.** Наряду с образованием ультраортодоксальных течений, в иудаизме шло и образование течений противоположного толка, порвавших с ортодоксией и пошедших в направлении "модернизации" и "очищения" иудаизма (от того, что отличало его от христианства и "чистой философии"). "Новаторское течение" нашло свои формы в движении реформированного иудаизма. Нечего и говорить, что это движение не является ортодоксальным; оно, на наш взгляд, вообще с трудом может быть названо еврейским. Это движение полностью отказалось от всей еврейской традиции, не оставив от нее ничего, кроме названия "иудаизм".

Первоначально реформизм, в США и в Европе, имел явно антисионистскую окраску и рассматривал сионизм (идею о возвращении в Сион) как средневековый предрассудок; со временем, однако, симпатии еврейской общины к Израилю стали столь очевидны, что реформированный иудаизм пошел в этом вопросе на большие уступки.

В США реформизм практически является формой национальной (а не религиозной) организации евреев. Несколько иной он в Европе. Здесь он принял подчеркнуто интеллектуальный харак-

---

\* Митнагдим (от "негед" — против) — противники хасидизма.

тер: стремился сохранить “духовные ценности” иудаизма (разумеется, в своем понимании) и, следуя ходу христианской мысли, полностью или частично отвергал ортодоксальную еврейскую практику. Это направление связано с именами Бубера, Розенцвейга и Гешеля. Оно довольно обильно представлено среди полуассимилированной еврейской интеллигенции Запада и даже Израиля, в том числе — и в одном из социалистических киббуцных движений.

Своеобразной формой “непоследовательного реформизма” стало движение консерватистов (названных так, поскольку они несколько консервативнее реформистов). Оно отвергает не все заповеди, а только “несущественные”; сохраняет не все заповеди, а только “важные” (например, еврейские праздники, бармицу, свадебную церемонию и другие “приятные” элементы иудаизма). Возможно, что такой подход может показаться привлекательным, однако он предполагает, что имеется простое и очевидное решение главной и бесконечно трудной проблемы, а именно — проблемы сравнительной важности заповедей. Таким образом, этот подход содержит в себе совершенно элементарную логическую ошибку, а потому не имеет никакой интеллектуальной ценности. Не вдаваясь в подробности, отметим, что этот подход — как и родственный ему христианский — является атеистическим в своей ведущей основе. Это утверждение может показаться парадоксальным, но тем не менее оно логически безупречно.

Понятно, что реформисты и консерватисты находятся в постоянном идеологическом и практическом конфликте с ортодоксальным иудаизмом.

**Движение Мизрахи.** Если “новаторские течения” подчиняли религию “велениям современности”, то движение Мизрахи, возникшее в конце XIX — начале XX вв., старалось их совместить. Название движения представляет собой сокращение слов “Мерказ рухани” (“Духовный центр”; подразумевается иудаизм как центр жизни и Земля Израиля как центр иудаизма). Исходный тезис течения состоял в утверждении, что практика и философия ортодоксального иудаизма вполне могут быть реализованы и в современном обществе. Иными словами, ученый или промышленный рабочий вовсе не обязаны “естественным ходом вещей” становиться атеистами или переходить в христианство. Правда, этот скачок в современность: освоение современных профессий, со-

временная организация жизни и т. п. — труден и несет в себе элементы риска, но он исторически необходим.

Это течение включало в себя интеллектуалов и многих раввинов. Оно с самого начала было сионистским (что вызвало бурю в религиозном лагере). Особенно верно это было для менее интеллектуального и более практического ответвления — партии Поалей Мизрахи. Общеизвестно ее активное участие в строительстве и обороне еврейского ишува. Ею были созданы кибуцные поселения в самых опасных пограничных районах: Саад, Гуш Эцион, Тират Цви, Бирия и др. Интеллигенция Мизрахи включилась в науку страны. При этом, вне всякого сомнения, течение было и оставалось ортодоксальным.

Тем не менее в его религиозной практике не все было в полном порядке.

В левом крыле Мизрахи, прежде всего в Поалей Мизрахи, определилась тенденция к чисто механическому совмещению ортодоксального иудаизма с "современностью" и даже с "социализмом". Так сказать, кибуц — как кибуц, только кухня кашерная. При этом проводились своеобразные религиозные эксперименты, которые временами почти что доходили до идей консервативного иудаизма, хотя и не переходили в него. Можно сказать, что подобные эксперименты являются необходимой частью всякого поиска и переходного периода; более того, — если они проводятся с должным пониманием ответственности (то есть не впадая в эйфорию новаторства), они не слишком опасны для иудаизма. Тем не менее они привели Мизрахи к известной напряженности в отношениях с лагерем "харидим" по вопросам религиозной идеологии. Другим источником напряженности был традиционный политический союз Мизрахи, основанный на общности сионистской идеологии, с движениями равнодушными или даже враждебными по отношению к религии (кроме крайне атеистических типа МАПАМ). Как известно, весной 1976 г. этот союз был односторонне нарушен социалистической стороной, что парадоксальным образом привело к созданию новой коалиции с участием не только с партией Мафдал, но и Агудат Исраэль.

**Идеология равва Кука.** Совершенно особое место занимает идеология р. Кука — первого главного ашкеназийского раввина Эрец Исраэль. Ее трудно назвать иначе, чем сионистской *par excellence*\*. Она состоит в том, что сама почва Земли Израиля автомати-

\* По преимуществу (лат.).

чески действует на еврея в правильном направлении; поэтому все духовные проблемы народа Израиля будут разрешены с его возвращением на Землю; обязательным условием этого является заселение в с е й Земли или, по крайней мере, Обещанной Страны (от Иордана до моря); в то же время, оставаясь в галуте, еврейство обречено на духовную деградацию. По сравнению с другими религиозными течениями эта идеология может показаться мистической. Но в иудаизме мистика и рационализм всегда были переплетены.

Практическим и политическим выражением идеологии р. Кука является движение Гуш Эмуним; организационно оно представлено одним из направлений в партии Мафдал, исторически созданной слиянием движений Мизрахи и Поалей Мизрахи. Мафдал и связанные с нею движения и учреждения составляют "пансионистское" направление на современной идеологической карте иудаизма. Это направление имеет свои внешние знаки: молитва на "современном унифицированном иврите" (речь идет, понятно, о произношении) и вязаная кипа. Впрочем, и то, и другое относится более к молодому поколению.

Интересно, что идеологии Мизрахи и р. Кука в известном смысле дополняют друг друга. Так, идеология р. Кука требует создания развитого и самостоятельного ишува\* в Эрец Исраэль, что в смысле практическом немедленно ставит проблему совмещения религии с современным хозяйством. С другой стороны, Мизрахи всегда подчеркивало, что его принципы могут быть до конца осуществлены только в рамках еврейского государства в Эрец Исраэль.

**Сефардское еврейство.** Несколько иное положение складывается, как кажется, в среде неашкеназийского еврейства. Перед массовой алией в Израиль эти общины сохраняли в основном традиционный образ жизни, хотя уже были видны первые признаки его грядущего крушения. Кризис разразился с переездом в Израиль, причем не последнюю роль в нем сыграла, на наш взгляд, целенаправленная антирелигиозная и антитрадиционная деятельность государственных и партийных учреждений того периода. В результате значительная часть этого еврейства — возможно, большинство — потеряла внутреннюю связь с религией; речь идет прежде всего о молодом поколении, сформировавшемся

---

\* Поселения — в широком смысле.

уже после приезда в Израиль, а также о сефардской интеллигенции, воспитанной в атеистическом духе израильских университетов. Некоторая часть сефардского еврейства, однако, сохранила религиозный или, по крайней мере, традиционный образ жизни; эта часть примыкает к движению Мизрахи и — в меньшей мере — к Агудат Исраэль.

В самое последнее время заметно быстрое духовное возрождение сефардского еврейства, связанное прежде всего с деятельностью р. Овадии Йосефа (главного раввина сефардской общины) и р. Ицхака Нисин (его предшественника). Созданные ими сефардские ешивы\* возрождают и развивают сефардское направление в иудаизме, несколько столетий бывшее в относительном пренебрежении. Трудно, однако, предвидеть влияние этого движения на интеллигенцию.

**Тенденции развития.** Общеизвестно, что мы живем в период религиозного возрождения. Отметим в этой связи два явления, в значительной степени связанные друг с другом. Первое — это появление большого числа — нескольких тысяч — “баалей тшува”, людей вернувшихся к Торе. Это явление имеет в основном индивидуальный характер и связано с традиционно-религиозным направлением. Другое явление имеет характер общественный, хотя и менее известно, если судить по газетам. Речь идет об общем возрождении религиозных устремлений, о явном проявлении религиозных интересов в современном израильском обществе и даже более широко: во всем еврейском народе.

С точки зрения еврейской мистики само возникновение атеистического потока в еврейском народе возможно только вследствие каких-то неправильностей в “идеологическом курсе” ортодоксального иудаизма; можно думать, что если иудаизм сумеет найти “правильный путь”, то он сможет повести за собой весь еврейский народ и — косвенным образом — изменит все лицо современного мира. Однако пока это лишь мечты. Положение в данный момент представляется нам в следующем виде. Несмотря на все разногласия и споры (политического характера прежде всего), обозначился период сближения и синтеза. Внутри движения Мафдал усиливается тенденция к большей ортодоксальности (особенно среди молодого поколения, включая и кибуцников — традиционно консервативную в идеологическом отношении часть израильского общества).

---

\* Центры религиозного образования (ивр.).

В этом следует видеть заслугу Агудат Исраэль. С другой стороны, Мафдал на деле доказал, что еврей может иметь университетское образование, не теряя ортодоксальности. В результате намечились определенные сдвиги в практике консервативно-ортодоксального иудаизма: осторожное введение "светских предметов" в школьное обучение, поступления в университеты и т. п. Все более ясно, что ни одно из течений не будет поглощено; речь может идти только об их взаимодополнении: без Мафдала иудаизм оказывается как бы оторванным от народного хозяйства, тогда как без Агудат Исраэль он теряет в глубине внимания к специфически религиозным вопросам, которые всегда были ближе психологическому типу людей, близких к религии.

Однако, если мы говорим о подлинном подъеме иудаизма, о его возвращении на духовные высоты периода Второго Храма, мы должны прибавить к этому синтезу еще и синтез ашкеназийского и сефардского направлений в иудаистском мышлении. Мы уже касались этого вопроса и не будем вновь возвращаться к нему. Суммируя, скажем, что, судя по всему, мы живем в эпоху начала нового периода синтеза в долгой истории иудаизма, и истине будет жаль, если мы не внесем в нее своего вклада.

**Наши возможности.** Здесь, однако, следует проявить некоторую осторожность. В принципе вклад может быть двух видов: активный и пассивный. Пассивный означает, что мы пассивно участвуем в процессе возрождения, то есть восполняем пробелы своего образования, корректируем свой образ жизни и т. д. Активный означает, что мы активно участвуем в процессе синтеза, что называется, "вносим свои идеи и свою струю". Эта сторона деятельности, разумеется, всегда была приятна; кроме того, она ближе ментальности русско-еврейской интеллигенции, во многом впитавшей идеи "круга Достоевского—Бердяева" относительно мессианской роли русского народа и православия. Нет ничего легче, чем обратить эти идеи к иудаизму и начать "обогащать" его православной философией (упаси Бог!).

С большим сожалением и с полной ответственностью я должен сказать, что, по моему мнению, в настоящий момент русско-еврейская интеллигенция должна ограничиться пассивным участием. Время покажет, сможет ли наше поколение активно участвовать в новом синтезе или это будет дано только нашим детям. Но во всяком случае без долгого и тяжелого периода учебы — азов! — нечего даже и думать об этом.

## ИЗРАИЛЬСКИЕ ЗЕЛОТЫ ?

*Публикуемая ниже рецензия на книгу израильского общественного деятеля и юриста Залмана Абрамова "Вечная дилемма. Еврейская религия в еврейском государстве" (Тель-Авив, 1976) любезно предоставлена нам редакцией журнала "Мидстрим" (США).*

С самого момента возникновения перед Государством Израиль стояли три важнейшие проблемы. Первой и несомненно самой острой, с точки зрения существования, была проблема отношений с соседними арабскими странами. Большинство из них и по сей день упорно отказываются признать законность еврейского государства и сохраняют бескомпромиссно враждебную позицию по отношению к нему, определив его недавно как "сионистско-расистское". Второй по счету является проблема выходцев из арабских стран, так называемого "второго Израиля". Они образуют ныне абсолютное большинство населения страны и в то же время они находятся в худших социальных условиях, чем ашкеназы — израильтяне европейского или американского происхождения. И наконец третья проблема связана с наличием в стране религиозного сектора, в разной степени отрицательно относящегося к общедемократическим принципам и законам государства и включающего на своем крайнем правом фланге небольшую, не связанную никакой организацией и тем не менее весьма влиятельную группу. Эти вообще не признают права Израиля на существование на том основании, что немессианское еврейское государство якобы противоречит воле Создателя и являет собой коллективный грех и святотатство. Этой третьей проблеме и посвящена книга З. Абрамова "Вечная дилемма".

Сама по себе проблема не нова. Где бы и когда бы евреи ни образовали относительно автономное общество, его религиозный сектор всегда пытался — и зачастую преуспевал в этом — навязать свою волю всем гражданам. Значительная часть еврейской истории состоит из таких действий. Именно потому, что ревностное пророческое меньшинство во времена библейских царств добивалось безусловно подчинения культу Ягве, этот культ возобла-

дал над всеми другими, и универсальный этический монотеизм стал единственной религией евреев. Именно потому, что несколько сот раввинов и мудрецов посвятили всю свою недюжинную энергию и интеллект развитию Галахи — религиозного закона, который они рассматривали как Моисеево наследие, — раввинистская этика и ритуал стали основой иудаизма на последующие пятнадцать столетий. И именно потому, что на всем протяжении рассеяния образованные и религиозные евреи (а образование и религиозность были в те дни неразделимы) всегда считали себя блюстителями галахического поведения всех членов своих общин и сумели навязать свою волю равнодушному или вялому большинству, евреи, как целое, во всем мире остались религиозно ориентированным народом вплоть до эпохи Просвещения и эмансипации.

Галаха, этот костяк еврейской жизни последних двух тысячелетий, — поразительное творение. В ее основе лежит утверждение, что Закон был дан раз и навсегда в Торе, которая является словом Господним, и потому не может быть изменен; однако Тора может быть интерпретирована, чтобы служить руководящим указанием на все времена и во всех обстоятельствах. Поскольку с течением времени обстоятельства меняются, выдающиеся галахисты считали необходимым менять форму законов через каждые несколько поколений. Так возникли такие последовательные кодификации, как сам Талмуд (около 500 года н. э.), “Книга Галахи” Исаака Альфаси (1013–1103), “Вторая Тора” Маймонида (1135–1204), “Четыре ряда” Якова бен Ашера (1270–1343) и “Шулхан арух” Иосефа Каро (1488–1575). Эти кодексы в совокупности и получили у евреев название Галахи, то есть обязательного традиционного закона, которому следует повиноваться и уклонение от которого есть грех перед лицом Господа. Единодушие такого признания Галахи (в особенности кодекса “Шулхан арух”), не подкрепленного никаким государственным, полицейским или юридическим авторитетом, само по себе есть свидетельство огромного престижа, которым пользовались ее авторы в глазах современных им и последующих раввинов, и их влияния на весь еврейский мир в целом.

После “Шулхан арух” еврейский мир уже не породил ни одного нового кодекса. Почему? Возможно, потому, что ни один позднейший галахист не чувствовал себя для этого достаточно авторитетным. Поэтому “Шулхан арух” остался действующим

еврейским кодексом по сей день. Однако в прежние времена, в изменяющихся обстоятельствах, раввины, прибегая к "Шулхан арух", искали новых способов интерпретации указаний, с тем чтобы сделать их более применимыми в новых условиях. В то же время, желая уберечься от греха, они наложили запрет на все мало-мальски сомнительное и потребовали строжайшего соблюдения всего уже установленного.

В результате в последние столетия Галаха потеряла свою прежнюю гибкость и перестала развиваться. Один израильский религиозный философ охарактеризовал современный ортодоксальный ритуал как "поразительную окаменелость". На сегодняшний день религиозная часть Израиля и диаспоры живет жизнью, полностью подчиненной предписаниям четырехсотлетней давности. Книга Абрамова показывает, как эта позиция ортодоксов приходит в конфликт с Государством Израиль, его теоретическими и идеологическими основами, его практикой и реальностью.

Само основание государства уже было тяжелым ударом по ортодоксии, хотя лишь самые крайние из них яростно противились этому. Существует многовековое еврейское поверье, что в надлежащее время Бог сам пошлет Мессию возродить царство Давидово в Иерусалиме, восстановить Храм, утвердить ритуал и сокрушить все народы земли, враждебные Израилю. И существует также традиция, предостерегающая от намерений "ускорить приближение", иными словами — от попыток доступными людям способами повлиять на волю Господа. На этом основании ультра-религиозные ортодоксы, известные с 30-х годов под названием Нетурей карта (Стражи стен), резко противились сионистским стараниям воссоздать Государство Израиль. После провозглашения независимости они объявили Израиль "еретическим заблуждением" и дошли до того, что стали отмечать День независимости как день траура и сжигают в этот день государственный флаг. Их духовный вождь, раввин из Сатмара, живущий в Вильямсбурге (США), призвал в дни Шестидневной войны к уничтожению еврейского государства. В любой другой стране группа, открыто выступающая с такими заявлениями, была бы обвинена в государственной измене. Беспрепятственное существование Нетурей карта и свобода действий, которой они пользуются, свидетельствует о либеральном духе израильского общества и правительства.

Сама по себе Нетурей карта – это немногочисленная и незначительная группа, насчитывающая едва ли несколько тысяч человек. Но ее влияние намного превосходит ее численность. Причина этого состоит в специфической структуре религиозной жизни в Израиле и диаспоре. Религиозные евреи составляют около 30% всего еврейства. Их религиозность далека от ультраортодоксии Нетурей карта, и они следуют Галахе с той или иной степенью строгости. Для таких евреев абсолютно строгое следование Галахе, каким отличаются члены Нетурей карта, представляется чем-то идеальным, некоей высшей ступенью еврейского существования, которой они тоже хотели бы достичь, но не могут в силу условий реальной жизни. Принимая в принципе, что жить следует в полном подчинении Галахе, религиозный еврей сознает, что он не так религиозен, как ультраортодоксы, которые являются для него постоянным укором и напоминанием о неполноте его собственной религиозной жизни. Как говорит Абрамов, Нетурей карта благодаря своей идеологической последовательности, оказывают огромное влияние на ортодоксию в целом и на раввинат в частности. Последний вынужден занимать оборонительную позицию и оправдываться в своем сотрудничестве со светской властью и в своей зависимости от нее. Сами Нетурей карта полностью отказываются не только сотрудничать, но даже признавать Государство Израиль.

Ортодоксы, не принадлежащие к Нетурей карта, оправдывают свое сотрудничество соображениями как идеологического, так и практического порядка. Идеологически они интерпретируют создание Государства Израиль как “начало Избавления” и потому считают его галахически законным. Практически, считают они, их участие в правительстве страны и ее учреждениях позволяет им влиять на нерелигиозное большинство населения с целью обеспечить выполнение хотя бы минимума галахических требований и тем самым приблизить Избавление. В итоге почти единственной и наиболее важной целью ортодоксальных политических партий и раввината является использование государства и его законодательной структуры для решения своей основной задачи – усиления партийного влияния.

“Вечная дилемма” содержит множество примеров (представленных с научной объективностью и точностью юридического мышления) того, как религиозные партии используют свое стратегическое положение в сменяющихся друг друга израильских прави-

тельствах, чтобы провести законы, подчиняющие правительственную юрисдикцию галахическому контролю. Эти партии сумели заставить Кнессет принять законы об обязательности кашерной пищи в армии, о запрещении почти всего общественного транспорта в субботу, о запрещении выращивания свиней в Израиле, о решении вопроса "Кто еврей?" (определяющего границы применения Закона о возвращении) в соответствии с требованиями Галахи, которая считает евреем лишь того, кто родился от матери-еврейки или обращен в иудаизм по ортодоксальному ритуалу.

С точки зрения ортодоксального мышления нет и не может быть никакого конфликта между демократическим принципом, по которому решения принимаются большинством, и традиционным еврейским обычаем навязывать неверующим обычаи Галахи. Абрамов цитирует одного религиозного автора, сказавшего: "Законы Моисея обязательны для всех в Израиле. Никто не свободен от них, даже если он желает быть от них свободным. Мы обязаны им подчиняться. И нет сомнения, что наш долг состоит в том, чтобы заставлять выполнять заповеди, предписанные Торой. Это несколько не противоречит принципам демократии. Лояльность по отношению к религиозным предписаниям не мешает лояльности по отношению к демократическим принципам. Тора является нашей конституцией, и потому она имеет приоритет над любой демократической структурой".

Здесь все сформулировано с предельной четкостью: Галаха божественна, поэтому еврей не только обязан выполнять Галаху, но и должен делать все возможное, чтобы заставлять других выполнять ее. Галаха вечна, поэтому она не подлежит изменению или модификации таким светским законодательным органом, как Кнессет, даже если все его члены до единого проголосуют за такие изменения. Галаха верховна, поэтому во всех случаях, когда светские законы приходят в противоречие с ней, еврей обязан следовать Галахе, даже если это означает нарушение светского закона государства.

Все это естественное логическое следствие того талмудического предписания, что каждый еврей во всех поколениях обязан следовать Галахе, поскольку он в лице своих предков поклялся на горе Синай выполнять божественный Закон. На этом-то основании ортодоксы всюду — в Кнессете, в правительстве и т. д. — используют коалиционную возможность, чтобы навязать свои взгляды неверующему большинству; они делают это с чистой совестью,

в полном убеждении, что они навязывают Закон, стоящий выше законов Кнессета.

(В скобках можно заметить, что, настаивая на том, что верующие имеют право заставлять неверующих нести "бремя Закона", ортодоксы всего лишь следуют примеру самого Господа: апокрифическое сказание утверждает, что, когда евреи стояли у подножья горы Синай, Бог поднял над ними гору, опустил над самыми их головами и грозно спросил: "Будете повиноваться Моим законам? Если нет — сейчас обрушу на вас эту гору! Здесь и будет вам могила!" Поставленные перед таким выбором, сыны Израиля приняли Тору. Это прекрасный пример мифологического обоснования догматических принципов).

Стремясь объективно представить конфликтующие точки зрения, Абрамов не забывает упомянуть и о той серьезной дилемме, с которой сталкиваются верующие, ортодоксальные евреи в светском, современном еврейском государстве. В течение многих столетий Галаха развивалась в маленьких общинах, окруженных нееврейским большинством. Она выполняла в этих условиях важную задачу: сделать возможной еврейскую жизнь в нееврейском мире. Возникающие при этом проблемы решались по мере их возникновения с помощью видоизменений галахических принципов и их приспособления к новым условиям. Типичным примером этого может служить проблема зажигания огня в субботу. Поскольку это, с одной стороны, запрещено Галахой, а с другой — необходимо, евреи диаспоры создали институт "шабес-гоев", нееврейских прислужников, которым они говорили: "Стало темно", что означало: "Зажги свет". Прямое приказание тоже было бы в данном случае нарушением Галахи.

Как отмечает Абрамов, поскольку Галаха была разработана в диаспоре, она не содержит ничего касательно жизни в еврейском государстве, стране, где евреи составляют большинство и где потому не может быть "шабес-гоев". Поэтому возникновение такого государства было серьезным вызовом приверженцам современной Галахи, ортодоксальным раввинам. Оно поставило множество новых проблем, требовавших галахического решения.

Древнееврейские мудрецы, тоже убежденные в божественности Моисеева Закона, были способны тем не менее на довольно радикальные новшества: так, Гиллель (1 век до н. э.) заметил, что люди отказываются давать в долг, потому что Галаха приказывает аннулировать долги в субботний (седьмой) год; поэтому он

ввел правило, разрешающее заявить в суде, что к данному долгу библейский закон не будет применяться. По существу, это было, конечно, нарушением чистоты Закона. Такими же нарушениями были изменения, введенные в закон об обязательной женитьбе человека на бездетной вдове своего умершего брата.

Однако современный раввинат не только отказывается вводить в Галаху какие-либо новшества, но и выступает против ее малейших изменений. Раввины не сумели ответить на вызов современности и в результате оказались лицом к лицу с современным Израилем, вооруженные одним только сводом "Шулхан арух", документом шестнадцатого века. Это означает, что они игнорируют или осуждают многие явления общественной и личной жизни в Израиле.

Примером может служить талмудический принцип: "Смертельная опасность аннулирует субботу". По этому принципу можно гасить охваченный пожаром дом, если это спасает жизни находящихся в нем людей, но нельзя погасить в субботу всякое иное пламя. Исходя из этого принципа, раввинат не очень охотно согласился, чтобы в Израиле по субботам работал водопровод, электричество, телефон и другие общественные службы, поскольку их отсутствие угрожало бы жизни людей. Но даже их согласие демонстрирует определенную галутную ментальность: все эти работы ортодоксы выполнять отказываются и действительно не выполняют по субботам. Поэтому достигнуто соглашение, что верующие не выходят на сменную работу по субботам. Иными словами, раввинат согласился лишь на то, чтобы неверующие евреи выполняли за них эту работу, точно как "шабес-гоим" в галуте. Интересно, как решили бы ортодоксы этот вопрос, если бы все в Израиле следовали Галахе? Объявили бы они, что Галаха разрешает верующему выполнять такую работу и по субботам?

Пока что раввинат идет на компромиссы и ищет лазейки, прибегая для этого порой к самым причудливым выдумкам: так, например, если долг обязывает верующего офицера или полицейского писать в субботу, он может это делать лишь в случае смертельной опасности (пиквах нефеш), только левой рукой и только не на иврите. Со своей педантичной объективностью Абрамов поясняет в примечании, что все это призвано напомнить пишущему, что он совершает необычное действие, которое, вообще-то говоря, запрещено.

Но гораздо более серьезным является в книге Абрамова обвинение в том, что израильский ортодоксальный истеблишмент слишком занят ритуальной стороной религии в ущерб собственно религиозной, этической и духовной стороне. Разумеется, всякий человек, знакомый с историей еврейской религии, этому не удивится. Так было и в прошлом: достаточно вспомнить великого Маймонида, который свел 613 заповедей Торы к тринадцати правилам веры. Но есть и различие. В прошлом евреи жили в окружении культур, которые разделяли с ними основной принцип единобожия, так что у них не было необходимости бороться с неверием. Важнее было следовать Галахе, которая надежно отгораживала евреев от неевреев и позволяла еврейской общине выжить.

В современном Израиле главной опасностью для ортодоксии является не столько несоблюдение обряда, сколько неверие. Находясь в самой гуще неверующего большинства, ортодоксальное руководство, казалось бы, должно было бороться за переформулировку древних еврейских "ловушек веры", за то, чтобы предложить поколению, выросшему после Катастрофы и после возрождения Израиля, такой обновленный иудаизм, который был бы для него привлекательным. Многие неверующие евреи полагают, что все, произошедшее с еврейством за последние десятилетия, легче объяснить в религиозных терминах, нежели в каких-нибудь иных.

И вот тут ортодоксия позорно провалилась. Она не поднялась даже до осознания того, что произошло. Некогда Бар-Кохба нашел опору в лице рабби Акивы, своим авторитетом освятившего его действия. Но если бы сегодня кто-нибудь вознамерился объявить Герцля мессией (тем первым мессией, который по еврейскому поверью должен умереть раньше, чем завершится дело Избавления), он был бы немедленно встречен возмущенными криками раввинов: "Но ведь Герцль не был даже верующим!"

Неспособность раввината стать моральным руководителем ишувов стала очевидной уже во времена британского мандата. Как говорит Абрамов, "главные раввины в те дни были больше обеспокоены вопросами ритуала, нежели морали", "Раввинат был учреждением, а не духовной силой. Возможность обновления Закона была упущена, и никто не пытался всерьез привести Галаху в соответствие с требованиями современного мира". И произошло это, по мнению Абрамова, из страха перед ультратрадиционалистами.

Таково влияние ничтожной Нетурей карта и других немногочисленных ультрарелигиозных элементов.

Позиция ультраортодоксов напоминает известный рассказ о калифе Омаре. Глядя на огромную библиотеку в захваченной арабами Александрии, он сказал: "К чему столько книг? Если они не противоречат Корану, то они излишни. Если же они ему противоречат, то они вредны". И распорядился библиотеку сжечь. Примерно то же повторил лидер Агудат Исраэль во время дебатов в Кнессете в 1949 году: "Израилю не нужна конституция, придуманная людьми. Если она будет противоречить Торе, это будет святотатство; если она будет в согласии с Торой, она лишняя". Та же позиция была подтверждена другим лидером этой партии, равви Левиным: "Тора вечна, ибо Создатель ее вечен. Не Тора должна быть приспособлена к жизни, а жизнь должна быть приспособлена к Торе". Случилось так, что Бен-Гурион, хотя и по другим причинам, тоже был против конституции, и поэтому попытка ее создания была отложена, а культурная "гражданская война" отсрочена.

Тем не менее с годами светские законы стали вторгаться во владения Галахи. И если эта тенденция продолжится, а тому есть все основания, то влияние Галахи на те или иные области жизни в Израиле будет уменьшаться, а возможность ортодоксов понуждать неверующее большинство страны — падать.

В последней части книги Абрамов рассматривает кризис секуляризма и начало религиозного плюрализма. Оба явления представляют собой важные события духовной жизни Израиля. Все больше и больше израильтян приходят к мысли о недостаточности своего секуляризма. Абрамов прослеживает "новые религиозные поиски" в кибуцах и считает это признаком "новой фазы развития еврейской религии".

Эта тенденция усиливается тем беспокойством, с которым верующие американские евреи следят за развитием религиозной мысли в Израиле. Ортодоксальный истеблишмент относится недоброжелательно и даже враждебно к любым попыткам реформизма и либерального консерватизма утвердиться в Израиле. Тем не менее за последние годы наметились сдвиги и в этом направлении. И хотя ортодоксы по-прежнему относятся к религиозному плюрализму с крайней нетерпимостью, они далеки от той враждебности, которая некогда обусловила крах Второго Храма. Эта религиозно-историческая аналогия заставляет надеяться, что рели-

гиозные конфликты, застилающие сегодня израильский горизонт, удастся разрешить и что новый иудаизм, несомненно возникающий в древнем Сионе, будет достоин своего предшественника. А тем временем мы должны воздать должное писателю, который сумел представить эту сложную проблему с такой полнотой, с такой сдержанностью, объективностью и явной симпатией к религиозному плюрализму.

ГА-ИВРИМ  
АССОЦИАЦИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЯЗЫКА ИВРИТ  
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  
п/я 44542, Хайфа, Израиль

Дорогой друг!

Наша главная цель — помогать тем, кто преподает и изучает иврит в Советском Союзе.

Уже несколько лет мы ежегодно посылаем по почте сотни книжных бандеролей, и, хотя далеко не все доходит, тысячи переправленных нами книг — в руках учителей иврита и их учеников в Советском Союзе. Потребность в литературе продолжает расти. Мы получаем из Союза все больше писем, в которых благодарят нас за присланное и просят присылать еще и еще.

Деятельность Ассоциации способствует не только увеличению числа носителей общенационального языка нашего народа, но и пополнению резервуара будущих граждан Израиля.

При создании Ассоциации основу ее составили те, кто сам в свое время (в начале 70-х годов) преподавал иврит в Союзе. Сегодня Ассоциация все более нуждается в деловой и материальной помощи, в живом сотрудничестве всех, кому близки наши цели.

Поэтому мы обращаемся к Вам, дорогой друг и земляк, земляк по стране исхода и по месту нынешней жизни, с призывом вступить в Ассоциацию "ГА-ИВРИМ".

С одинаковой признательностью будут приняты и активная деятельность в ее рамках, и пассивная помощь, выражающаяся в уплате скромных членских взносов или в единовременном пожертвовании.

От имени Правления Ассоциации, с уважением и надеясь  
на отклик, отв. секретарь "ГА-ИВРИМ" Дан Рогинский

Ассоциации "ГА-ИВРИМ"

Я готов оказать Ассоциации "ГА-ИВРИМ" денежную помощь в виде единовременного пожертвования. Прилагается чек на сумму . . . . . лир.

Я хочу стать членом Ассоциации "ГА-ИВРИМ". Прилагается ..... чеков по ..... лир каждый на общую сумму 360 лир (годовой членский взнос).

Имя . . . . . Адрес . . . . .

## КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Для меня нет сомнения в том, что значительная — и, на мой взгляд, наиболее вдумчивая — часть русской алии не чужда некоему своеобразному “религиозному чувству”, которое нельзя по справедливости назвать ни верой, ни религией в прямом смысле слова, но скорее — настроением. Говоря об этой части русской алии, я не имею в виду тех русских евреев, которые пришли к вере, как таковой. При всей подчас серьезности религиозных поисков этих новообращенных русских евреев, я все же не стал бы ссылаться на их пример в качестве подтверждения своей мысли о религиозных настроениях русской алии. Дело в том, что эти поиски почти без исключения ведутся в узком кругу традиционного иудаизма и заранее исходят из признания его догмы и ритуала. Между тем, если есть что-либо несомненное в такой запутанной области, как отношения еврейской религии с современностью, то это факт, что иудаизм именно в части своей догмы и ритуала переживает глубокий идейный кризис. Поэтому люди, без раздумий принимающие именно то, что подлежит, на мой взгляд, критическому пересмотру и обновлению, не представляются мне носителями новых перспектив. Гораздо перспективнее в этом смысле, по-моему, именно носители расплывчатых и неопределенных “религиозных настроений”, о которых я говорил выше, потому что, поставленные перед выбором: традиционный иудаизм или модная арелигиозность, они выбирают третий путь — путь поиска новой религиозности, удовлетворяющей и их глубокой духовной потребности, и — одновременно — нуждам современности.

Я не думаю, что религия должна быть юркой и угодливой служанкой сиюминутных требований жизни. Религиозные тенденции развертываются и проявляются на гораздо более длительных интервалах времени, чем закономерности социальные, а уж тем более — политические. Но вот с длительностью изменений культурных эти религиозные изменения соизмеримы. И не может быть иначе: ведь всякая культура, в конечном счете, есть культура религиозная (даже если она провозглашает себя атеистической “религией Разума”). И поскольку становится все более очевидным, что мы переживаем сейчас не столько кризис политический или идеологический, сколько — прежде всего — кризис культурный, то потребность духовного обновления традиционных вероучений представляется не досужим вымыслом интеллигента, ищущего себе “удобной веры”, а реальным требованием времени. Я готов принять свою долю критики со стороны новообра-

ценных русских евреев, которые, несомненно, скажут, что надо бы прежде разобраться в традиции, а уж потом говорить о ее обновлении. Или еще решительнее: что все мое мудрствование "от лукавого" – в Торе все предвидено и все сказано и "наасэ венишма" – единственный правильный образ поведения. Я готов, повторяю, принять всю эту критику и тем не менее буду отстаивать свое убеждение, что, по крайней мере, еврейская религия переживает кризис, столкнувшись с требованиями современности. Или, скажем определеннее и резче: необходимо обновление, а для этого поиск и сомнения много плодотворнее, чем нерассуждающее подчинение готовым формам и стереотипам.

Я отдаю должное роли иудаизма в создании самого еврейского народа. Как бы ни оценивать роль религии в еврейской истории, ясно, что религия от нее неотделима. И точно так же неотделимо от прошлого наше настоящее. Реальность такова, что вместе с историей в ее течении еврейская религия вошла составной частью в нашу современность и стала органическим и существенным фактором нашего сегодняшнего государственного и общественного бытия. Для многих евреев она стала главным стимулом возвращения в Палестину, то есть главным сионистским мотивом. Для других она стала внешним обстоятельством, определяющим различные – приятные и неприятные – стороны их жизни в еврейском государстве, поскольку по мере становления этого государства религия в нем переплеталась с политикой, законодательством, воспитанием, культурой. Почему это произошло – о том написано много книг и не здесь рассуждать об этом. Но – произошло. И данность такова, что в силу всех этих обстоятельств в еврейском государстве невозможно отделить религию от государства. Тем, кто соблазняется таким "легким" решением, следовало бы осознать, что первым же его результатом будет превращение всего религиозного Израиля в гигантский Меа Шаарим. Много раз говорилось о том, что особенности еврейской религии делают ее всеобъемлющей: истинно религиозный еврей должен все стороны своей жизни строить в соответствии с Галахой. Его ситуация в современном обществе и государстве непрерывно требует от него компромиссов с совестью – порой довольно мучительных. Мы как-то забываем об этом, глядя на пейсы и лапсердаки. Мы видим только свои сложности в отношениях с еврейской религией в еврейском государстве. Мы не замечаем "их" сложных отношений с еврейским государством в рамках еврейской религии. Религиозный еврей, в отличие от последователей других религий, не может разделить себя на "гражданина" и "верующего". Поэтому отделить религию от государства в Израиле означало бы отделить религиозный Израиль от еврейского государства.

"Исторический компромисс" между еврейской религией и еврейским государством, сложившийся еще в первые годы ишува, на заре сионистского движения, неустойчив. Религиозные лидеры честно признают, что идеальным состоянием для них было бы галахическое государство, законами которого были бы законы Галахи. Нерелигиозное большинство молча (а порой и вслух) сопротивляется этому. Почему-то неизмеримо большее внимание населения обычно привлекают факты отдельных успехов религиозного сектора: случаи очередного вторжения религиозного законодательства в светскую жизнь, как, например, недавняя история с освобождением ре-

лигиозных девушек от службы в армии. Гораздо меньше внимания обращают на то, что огромный сектор общественной жизни вообще является свободным от всяких следов религиозного влияния. Борьба различных групп за приведение государства в соответствие своим убеждениям и идеалам — самое обычное явление в демократическом обществе. Именно эта борьба и сохраняет демократию. Хотим ли мы оставаться демократическим государством или мы уже стосковались по тоталитаризму? Светский тоталитаризм, смею напомнить, ничем не лучше религиозного.

Конфликт между религиозным и нерелигиозным Израилем — явление, повторяю, вполне естественное. Иное дело, что мы не видим путей разрешения этого конфликта. Безднажность всех предлагавшихся до сих пор попыток его решения — она-то и порождает озлобление и агрессивность с обеих сторон. Но причины упомянутой неразрешимости весьма различны: для каждого из участников конфликта. Со стороны нерелигиозного Израиля конфликт этот во многом — психологическое недоразумение (я не говорю сейчас о ряде областей, где имеют место реальные и серьезные трудности, порожденные подчинением этих областей религиозному законодательству; я имею в виду массовое отношение к религии в израильском обществе). Но для религиозного Израиля неразрешимость коренится в самом характере Галахи.

Вот почему, мне кажется, единственный выход из конфликта состоит в обновлении традиции.

В чем в самом деле состоит суть проблемы: еврейская религия в еврейском государстве? По-моему, совсем не в том, что государство, мол, не может стать, "как все", пока часть его общественной жизни контролируется такой религией, как еврейская. Суть, на мой взгляд, в том, что государство вообще не может быть еврейским в таких условиях.

Еврейская религия "сохранила" народ не с помощью непрерывного приспособления к изменяющимся условиям окружающей среды. Приспособляемость, столь характерная для иудаизма на раннем этапе, была им полностью утрачена к концу средних веков, когда окончательно застыли в кодифицированных формах "Шулхан аруха" основные постановления Галахи. С тех пор еврейская религия не столько приспособлялась сама, сколько приспособляла народ к сохранению в окружающем мире. Мир этот изменялся — религия "побеждала" изменения тем, что все надежнее изолировала евреев от окружающего мира. Можно сказать и иначе: еврейская религия нашла выход в приспособлении народа к безгосударственному существованию — в окружении инонациональной государственности. Она противопоставила идее национальной, современного государства идею религиозной общины, в которой государственные формы, потребности, необходимости заменены нравственными, семейными, клановыми формами.

Теперь еврейское государство, в силу имманентной и навязанной ему необходимости развивается в сторону все большего огосударствления общественной жизни, между тем как еврейская религия действует в сторону все большего ее разгосударствления. Ее идеалом было бы превращение Израиля в безгосударственную семейную общину, окруженную нееврейскими государствами — воспроизведение в мировом масштабе ситуации местечка, окруженного нееврейским населением и зависящего от него.

Я не хочу этим сказать ничего обидного для религии. Я не оцениваю. Я лишь пытаюсь понять, каковы реальные тенденции и совместимы ли они. Мое предположение приводит меня к выводу, что — несовместимы. Сложилось так, что государство стало единственной формой существования одной части еврейского народа, а религия — другой его части. И более того: оказывается, что одна лишь идея общего государства уже становится недостаточной даже для нерелигиозной части еврейства в Израиле и за его пределами. Невозможность реализовать заветную цель сионизма: собрать весь еврейский народ в Израиле — тому доказательство. Религиозные поиски определенной части русской алии — только часть более широкого явления: религиозных поисков значительной части еврейского народа, особенно его молодежи. Кризис ведь в современном мире переживает не только религия, кризис переживает и атеизм. Вот почему и можно говорить о том, что мы переживаем не идеологический или политический, а именно культурный кризис. Распадаются прежние формы цивилизованного существования; по планете неприкаянно бродят одичавшие и бездуховные массы; плодятся суб- и суб-субкультуры; множатся самые фантастические секты, самые дикие гибриды суеверия с научным фатализмом. Национализм стал чуть ли не единственным якорем спасения в бушующих волнах современности — и посреди всего этого хаоса мы, евреи, сидим на своем пяточке и решаем: как же нам жить? Что делать со своей религией и со своим государством? Со своим прошлым и со своим будущим? Уверенности в том, что это будущее у нас есть, нам не занимать — хватит на сто других народов. А понимание, как и у них, мало.

Я не хочу делать вид, что оно есть у меня. Но рецепты, предлагаемые некоторыми русскими неопфитами, не кажутся мне ни спасительными, ни даже гарантирующими сохранение нынешнего статус-кво. Не говоря уже о том, что эти рецепты — изучать Тору и исполнять мицвот — при всей их созвучности некоторым моим настроениям не созвучны другим из них. Иудаизм, в его нынешнем виде, может быть, и говорит что-то отдельной человеческой личности, жаждущей внутреннего покоя и совершенствования, но он, мне кажется, утратил тот коллективный призыв, то "послание миру", которое отличало его на первых порах. Быть может, прав все-таки был Ахад-Гаам, и обновление придет на сей раз от коллективного духовного (или одухотворенного) действия, совершаемого нами всеми здесь, в Израиле? Когда-то религия породила новый, еврейский народ. Быть может, сейчас этот народ породит новую еврейскую религию?

## РУССКИЙ ВОПРОС

После всех революционных эпох, как правило, наступает реакция, которая вместе с благотворной переоценкой ценностей, идей и идеалов несет с собой упадок духа и новые другого знака крайности, а тем самым — угрозу новых катаклизмов! И как во время революции люди безрассудно стремятся вместе с гнилой водой прошлого “выплеснуть ребенка”, точно так же они поступают, находясь во власти эмоциональной реакции на революцию и на все якобы с нею связанное. Причем, в патологических случаях норовят расправиться фактически с тем же самым “ребенком”, которого выплескивали в революцию!

Так, сейчас экстремистские оппозиционные течения в Советском Союзе и в эмиграции вместе с марксистско-ленинской водой стремятся выплеснуть и идеалы социальной демократии, гуманизма, рационализма и т. д. (то есть именно то, что выплескивали и большевики), утверждая, что эти идеалы были почвой, породившей чудовища XX века — революции, коммунизм, нацизм. Будто идеалы эти и впрямь лежали в основе сталинского коммунизма или гитлеровского нацизма!

*Вадим Белоцерковский*

## РЕАКЦИЯ, РЕЛИГИЯ И СОЦИАЛИЗМ

И нынешнее напряжение национализма в России, от мессианского и ксенофобского

“неославянофильства” (“мистическое тело Святой Руси”, “гнилой Запад”, “да грядет русский Бог во спасение миру!”) до изоляционистского и мизантропического сионизма (“мы везде лишние”, “хватит лезть не в свои дела”, “еврей всегда останется евреем” и т. п.) — все это также не что иное, как проявление реакции и упадка духа.

В этой склонности кидаться из крайности в крайность, особенно гипертрофированной у интеллигенции в России, видится одно из самых опасных свойств человеческой природы. Сейчас же, тем более в такой стране, как Советский Союз, — атомной супердержаве, подобная реакция представляется особо опасной и для народов СССР, и для всего человечества.

Правда, в силу специфики советской системы (отсутствие свободы печати и т. д.) реакция захватывает преимущественно лишь гуманитарную интеллигенцию, набившую себе кровавую оскомину на проповедовании официальной идеологии. Для других же слоев общества насущны, слава Богу, совсем иные проблемы. Однако распространение реакционных идей и настроений среди гуманитариев — это тоже не мало!

Одним из характерных проявлений нынешней реакции представляется и распространенное в среде советских гуманитариев упование на возрождение религии (прежде всего, конечно, православия), как *панацеи* от всех бед, как условия *необходимого и достаточного* для “спасения России”, а затем и всего мира...

О распространенности такой “реактивной” переоценки *социальной* роли религии в среде советской интеллигенции говорит и факт возрождения попыток создания “новой” рациональной религии без трансцендентного и мистического элемента и соединения подобной религии с социализмом, подведение ее в качестве духовной основы под здание нового гуманного и демократического социализма. В связи с этим феноменом хотелось бы высказать здесь ряд соображений.

Наиболее серьезные усилия по созданию новой рациональной религии и ее соединению с социализмом предпринимает, я думаю, Валентин Турчин в книге “Инерция страха”\*.

Турчин считает, что социализм и прежде привлекал к себе широчайшие слои людей своей *скрытой* религиозностью.

Таковую Турчин усматривает в направленности социализма к

---

\* Издательство “Хроника-Пресс”, Нью-Йорк, 1977 г.

единению людей. Это стремление Турчин считает религиозным. В религиозном чувстве и сознании Турчин видит два компонента: веру в трансцендентность Духа (в Бога, в бессмертие души) и стремление к единению людей. Однако, по мысли Турчина, беда была в том, что идеологи социализма и более всего марксисты отвергали религиозную сущность социализма и стремились придать ему научный характер, насилуя и социализм, и науку. В конечном итоге марксизм сотворил идеологического кентавра — смесь псевдорелигиозного догматизма с псевдонаучным доктринерством, чем безусловно усилил привлекательность своего социализма в эпоху всеобщего почтения ко всему научному.

Турчин полагает, что религиозная суть социализма должна быть признана, и социализм в качестве новой религии (без веры в трансцендентность Духа, в Бога и т. д.) должен прийти на смену традиционным, устаревшим, по мнению Турчина, религиям. Социализм должен стать новой и глобальной религией человечества, способствуя интеграции общества на новом, духовном и культурном уровне. На уровне, высшем по сравнению с интеграцией экономической, характерной для капитализма, и механической, насильственной, казарменной, характерной для современного тоталитарного социализма.

На мой взгляд — на взгляд сторонника нового, демократического социализма и человека неверующего, — здесь все хорошо, кроме представления о таком социализме, как о новой религии, да еще глобальной. Я вижу в этом неосознанную, может быть, уступку распространенным среди советских диссидентов “реактивным” религиозным настроениям, которые видятся мне часто следствием либо страха перед вновь обретенной внутренней свободой, либо непривычки жить без универсальной, все объясняющей идеологии.

Социализм, думается, может стать новой глобальной религией человечества, как предсказывает Турчин, лишь в том случае, если он действительно обладает имманентной религиозностью. Но нет никаких серьезных оснований для такого представления, если, конечно, не принимать всерьез усилий советской пропаганды заимствовать религиозные формы и методы для воспитания слепой веры в догмы официальной идеологии.

Если не принимать гипотезы о существовании трансцендентных сил, то “религиозное” стремление к единению надо признать

вытекающим из природы человека, существа наделенного сознанием и осознающего смертность всего живого, именно из стремления найти защиту от страха перед временем и смертью. "Бог есть боль страха смерти!" — говорит у Достоевского Кириллов. Всю нашу жизнь, все наши усилия в течение всей жизни и каждого дня можно представить, как борьбу с Временем, влекущим нас к концу, как стремление наполнить Время и тем самым растянуть его и притормозить его бег.

Но как и чем можно наполнить Время, находясь в одиночестве? И поэтому нашу жизнь можно представить и как ежеминутную борьбу с одиночеством, с отчуждением всяческим (от людей, общества, истории).

Страх перед Смертью очевидно все объясняет в человеческой природе: стремление к Добру и Злу, альтруизм и эгоизм, способность к сопереживанию и бесчувственность, стремление к единению и его антипод — стремление к самоутверждению.

Иными словами, для людей неверующих нет никакого смысла вводить термин "религиозное" для объяснения любых фундаментальных стремлений и потребностей человека. Лишь неосознанность истока этих стремлений может вызывать предположение об их религиозном характере.

В социальной жизни стремлению к самоутверждению соответствует направление к индивидуализму и либерализму, а стремлению к единению — коллективизм и социализм. Но важнейшим мы должны признать стремление к единению. Ибо единение дает человеку и наиболее сильную защиту от страха перед Временем и Смертью, и реальные формы бессмертия: в детях своих (единение в семье), и в делах и памяти людей (единение в обществе). Если человек не ожесточен жизнью, здоров психически, не потерял благорасположения к людям, то и к самоутверждению он стремится *для единения с людьми*, чтобы быть им нужным. И в этом случае самоутверждения ищет, что называется, на добром поприще. Лишь ожесточенный сердцем человек к самоутверждению стремится *для господства над людьми* (на любом поприще!), для удовлетворения своей агрессивности (для отвода вовне своего стремления к смерти — по Фрейду).

И если говорить, что социализм привлекает к себе людей своей скрытой якобы религиозностью, то можно сказать, что и религия привлекает своей социалистичностью, так как и она дает людям чувство (или иллюзию) единения или "свободы, равенства

и братства". Заметим снова: если всмотреться в свое подсознание, то именно "братство" здесь самое важное. Свобода и равенство — главным образом необходимые условия для братства.

И религия, и социализм привлекают к себе людей по одной и той же в сущности причине: отвечают стремлению найти защиту от страха перед Временем и Смертью. Но социализм, если стоять на такой точке зрения, всего лишь политическое движение к созданию социальных условий для более полного единения людей. (В идеале даже лозунг марксистского социализма "Пролетарии всех стран — соединяйтесь!" подразумевался как переходный к лозунгу "Люди всех стран — соединяйтесь!") .

Пойдем дальше. И социализм, и религия не только притягивают, но и отталкивают людей по сходной причине! Ущемляют стремление к самоутверждению, к индивидуализму. Нарушают, точнее, нарушали дл сих пор гармонию между двумя этими фундаментальными стремлениями человека.

"Если не я за себя, то кто за меня? А если я только за себя, то зачем я?" (Гилель). Либерализм и индивидуализм толкали человека быть только за себя, а социализм и религия\* мешали человеку быть за себя. (Протестантство — очевидная попытка снять это противоречие) .

И во всех случаях (а не только в одном — социалистическом, как утверждает, например, И. Шафаревич в книге "Социализм") это приводит к противоречию с природой человека, к глубокой неудовлетворенности и деморализации людей.

И, думается, целью "моделирования" нового, гуманного и демократического социализма должно быть не воплощение его в новую религию, а разработка и создание такой новой социальной структуры и такого нового социалистического мировоззрения, которые могли бы способствовать нарастанию гармонии между стремлением к самоутверждению и единению. Я разделяю убеждение, которое находит теперь все новых и новых приверженцев, что искомой структурой является общество социалистического самоуправления с особой, высшей представительной демократией в политической сфере и с преимущественно групповой собственностью на средства производства и рыночной системой в экономической сфере.

---

\* Речь идет прежде всего о христианской религии.

Участники движения "Третий путь" в Европе так, к примеру, формулируют цель этого движения: "Оно должно вести нас к большей свободе, индивидуализму и либерализму в духовной и культурной жизни, к более широкой демократии в государственной и политической жизни и к новой, ассоциативной, товарищеской форме социализма в хозяйственной жизни".

Приятно удивляет здесь, что авторы этой формулировки, молодые люди, не прошедшие нашего тоталитарного опыта, не ограничились словом "свобода", а поняли необходимость добавить, подчеркнуть: "к индивидуализму и либерализму..." Не побоялись употребить эти презренные для старых социалистов слова!

Но стремление видеть в социализме новую религию Турчин мотивирует еще и следующим соображением. Существует мнение, что якобы одна из главных задач любого мировоззрения — *отыскание* цели жизни. И Турчин, признавая, что только религия способна к этому, хочет видеть в будущем гуманном социализме новую глобальную религию человечества без веры в Бога, но с верой в абстрактно формулируемую Высшую или Сверхличную Цель.

Однако философия общества социалистического самоуправления (а Турчин в целом сторонник такой системы) не должна, думаю, ставить своей задачей поиск и формулировку Высшей Цели жизни по той простой причине, что она *давно уже известна людям!* Если, конечно, исходить из того, что Цель должна соответствовать человеческой природе, а не чему-то внешнему.

Известный советский врач-хирург Н. Амосов опубликовал в 60-х годах книгу-эссе "Мысли и сердце". В ней есть такой эпизод. Автор размышляет о своих сотрудниках, задаваясь вопросом: у кого какая цель в жизни? У одного это, скажем, карьера, у другого — семья, у третьего — что-то еще или ничего нет, никакой ясной цели. А про одного из сотрудников Амосов бросает: ну, а ему, впрочем, и не нужна никакая особая цель, потому что он по-настоящему добрый человек!

Вот и все. Вот и сформулирована Высшая и Сверхличная Цель жизни: приумножать Добро в мире, оставить добрый след. Цель, давно известная людям, дающая им защиту от страха перед Временем и Смертью и делающая осмысленными и незфемерными все наши остальные, "особые" цели. И иной Высшей Цели человеку не найти. Вопрос состоит в том, *как* ей следовать и иметь к тому желание, мужество, а также и возможность.\*

\* Понятие Добра, как и Бога, подвержено, разумеется, постоянному развитию, углублению, переосмысливанию и т. д. И так же подчиняется

Поэтому и нет нужды, думается, искать замену традиционным религиям, которые дают в сущности тот же самый ответ, только заменяя слово "Добро" словом "Бог". Притом, что следовать заветам Бога для верующих оказывается делом столь же трудным, как и заветам Добра для неверующих. Наверное, даже труднее, потому что до конца поверить в Бога и в бессмертие души большинство людей не может — особенно на современном уровне развития и наблюдая творимые в мире ужасы, ужасы, совершаемые, увы, и людьми верующими.

Именно эта невозможность для мыслящего существа *без сомнения* верить в Бога и в загробную жизнь души предопределяет неспособность религии служить панацеей от всех бед. Сомнение это, всегда живущее в подсознании, то есть неполная вера, лишь усиливает напряжение суетных страстей.

Помни о смерти! О страшном Суде! О спасении души! — твердит религия. — А если ничего нет после смерти?!

"Если Бога нет, то все дозволено!" — Вдумаемся. Ведь нет более страшной и деморализующей формулы. За нею — отчаянное стремление подавить это апокалипсическое *для верующего* сомнение. За нею — неверие верующего!

— Вы верите в бессмертие души? — в глубоком смятении спросил меня однажды пожилой религиозный человек (зная, что я — неверующий). Господи! Как жаль мне стало этого человека. Сомнение противоположное: а вдруг Бог есть? — не разрушает душевного равновесия неверующего. Может послужить лишь дополнительным стимулом вести себя достойно!

Но когда опора всех духовных сил в Вере?.. "Если вам труден путь Веры, берегитесь, чтобы он не стал для вас дорогой в ад!" (Ницше). Есть ли Бог, нет ли его — в любом случае все дозволено!

Выбор в любом случае за нами, за нашей совестью.\*

Но, может быть, религия — опора для совести, для нравственного сознания, без которых — теперь это мы уже все понимаем — невозможно создание гуманного социализма? Сомнительно! Оки-

---

принципу "апофетизма" или несводимости к какому-либо составляющему понятию. Утверждение социализма и нового социалистического мировоззрения (и их эволюция) будут, конечно, способствовать и эволюции понятия Добра, то есть Высшей Цели.

\* Откуда совесть? От Бога? Сомнительно. Тогда она должна бы быть малость покрепче и пораспространенней! Для меня отсюда главное сомнение в существовании Бога. Ведь наличие совести не уменьшает "дарованной нам Богом" свободы выбора между Добром и Злом, а увеличивает, как увеличивает компас свободу путешественника.

нем взглядом всю кровавую историю религиозных войн и наш повседневный опыт. Слишком много было и есть бессовестных и безнравственных людей среди верующих. А ведь нет ничего страшнее человека верующего, но безнравственного.

Короче, уж коли традиционные религии *сами по себе* не способствуют повышению нравственного уровня в обществе, то чего же ждать от каких-либо новых, *рациональных* религий?\* Нам вряд ли есть на что-либо иное надеяться, кроме как на развитие такой социальной структуры, при которой будет расширяться возможность реализации самого важного и великого права человека права *делать добро!* Права *быть добрым*, и через то добиваться и самоутверждения, и единения с людьми. Без возможности делать добро — реальное и серьезное — только единицы могут оставаться добрыми и порядочными людьми. И бесплодны без этого надежды на нравственное и духовное самоусовершенствование, на внутреннюю свободу и т. п. Если вдуматься, разве не для реализации — в конечном итоге — этого великого права ведется и вся борьба за "частные" права человека?

Наконец, стремление воплотить новое социалистическое мировоззрение в новую глобальную религию человечества представляется не только бесполезным, но и опасным! Ведь вновь может возникнуть соблазн представить это мировоззрение всеохватывающим и самодостаточным, единственно верным и истинным!

Я разделяю точку зрения, что мировоззрение нового социализма не должно быть ничем больше, нежели суммой взглядов и принципов желательного социально-экономического развития в направлении большего соответствия с природой человека. Социализм, зиждящийся на мировоззрении, не претендующем подменить собой религию, не претендующем на глобальность, самодостаточность и универсальность, оставляет свободу для развития любого иного мировоззрения и философии, хотя, конечно, при этом он может оказаться непривлекательным для людей, приверженных или привыкших к универсальной идеологии и не приспособленных к плюрализму. Но это и не плохо, что такие люди не будут примыкать к борьбе за новый социализм!

---

\* Я далек от того, чтобы отрицать позитивную роль религии в истории, в том числе в формировании этических принципов, то есть в осознании природы человека. Но роль эта уже в прошлом, хотя религия помогает и сейчас и будет помогать многим жить и *оставаться людьми*, как, впрочем, помогает и будет помогать другим *оставаться нелюдьми*.

В заключение позволю себе вкратце изложить вывод, сделанный мною в книге "Свобода, власть и собственность", содержащий попытку более широкого обобщения затронутых выше проблем.

Сознание — этот венец творения — дает нам и великую силу: способность к творчеству, к познанию и подчинению природы, — и столь же великую слабость: осознание своей смертности.

Не дано нам лишь познать, сумеет ли и успеет ли человечество создать условия, достаточно защищающие людей от страха перед Временем и Смертью, до очередного пароксизма этого страха, когда будут пущены в ход сокрушительные силы природы, открытые и подчиненные гением человеческого сознания.

Если мы не успеем или не сможем создать такие условия или если это вообще не под силу всем мыслящим существам во Вселенной, тогда мы обречены. И сознание следует признать излишеством, перехлестом природы, а наши надежды на усовершенствование социальных условий — утопией.

Но так как познать судьбу свою и всех мыслящих существ нам не дано, то и не стоит впадать в панику от чего бы то ни было. "Жертвой стать всегда успеешь!" Очень нелегко это, особенно в наш "прекрасный" XX век, но что поделаешь!

*В. Белоцерковский — автор ряда статей в западной и русскоязычной эмигрантской печати, а также книги "Свобода, власть и собственность"; живет и работает в Мюнхене.*

Психологическое различие между советским диссидентом и прежним русским революционером, на наш взгляд, обусловлено различием между авторитарным обществом, то есть до-революционной Россией, и тоталитарным советским обществом.

Авторитарная, неограниченная монархия, освящая собственный тип власти, в то же время не исключала многообразия общественной жизни. Отвергая свободу в западном смысле, как гарантированные законом и политическим устройством права граждан, она тем не менее предоставляла свободу выражения различных и противоположных взглядов. Эта духовная свобода оказалась достаточной для создания великой культуры, иными словами, она обеспечивала ту степень персонализации, без которой не может существовать ни одна культура нового времени.

Что касается советского тоталитаризма, то, с нашей точки зрения, было бы неверно выводить все его особенности только из наличия и характера одной господствующей идеологии — идеологии коммунистической. В советской реальности (а не пропагандистском мифе) господствует не коммунистическая, а советская идеология — сложное переплетение мифологизирован-

*Майя Каганская*

## **ДИССИДЕНТЫ: РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ИЛИ ОХРАНИТЕЛИ?**

---

*(Окончание. Начало  
см. "22" № 8)*

ной марксистско-ленинской догматики и русских традиций. Причем последние существуют на уровне массового сознания как своего рода "подсознательная идеология".

Анализ этого сложнейшего феномена не входит в нашу задачу. Но одну его общую и главную особенность необходимо выделить. Это освящение власти, более того — сакрализация социума, как единственного вместилища и гаранта моральных, социальных и духовных ценностей. Эта сакрализация социума ("мира", "общины", "народа") отличается от сакрализации какого-то определенного типа власти. С одной стороны, советский тоталитаризм является воплощением худших черт русского авторитаризма; с другой — он коренится в особом понимании природы, функций и назначения государства в русской исторической традиции, которая в ходе постоянной борьбы и контактов с Азией не могла не проникнуться духом и понятиями Востока. Сакрализация государства и власти, то есть придание им не социально-правовых, а духовно-авторитетных (как бы религиозных и церковных) функций модифицировалась в русской общественной мысли в сакрализацию социума, выбираемого в зависимости от идеологической установки (крестьянская община, пролетариат, народ, нация и т. д.). Социум как законный источник духовной власти над индивидуумом, личностью — характернейшая черта русской исторической традиции. Именно в ней видел Бердяев причину победы большевиков в революции: "Коммунизм оказался неотвратимой судьбой России, внутренним моментом в судьбе русского народа... Ленин мог это сделать потому, что он соединил в себе две традиции: традицию русской революционной интеллигенции в ее наиболее максималистических течениях и традицию русской исторической власти в ее наиболее деспотических проявлениях... Большевизм есть третье проявление русской великодержавности, русского империализма — первым было Московское царство, вторым — Петровская империя".

Сакрализация власти и государства, авторитарность, первичность социума по отношению к личности были наиболее значимыми и наиболее часто повторяющимися событиями в русской политической истории и в истории русской культуры. Их материальная база, на наш взгляд, — преобладающий общинно-крестьянский (то есть наиболее близкий нерасчлененно-коллективистскому началу) характер дореволюционной России. Исчезнув как социально-историческая реальность, "община" сохрани-

лась как определенный тип сознания, точнее — как бессознательное массовое влечение к коллективному типу жизни; на уровне же идеологическом — как влечение к целостному, органическому мирозерцанию, то есть к тотальной идеологии.

С этой точки зрения, такая правонационалистическая концепция, как шимановская, призывающая соединить советскую власть с православием и утверждающая, что "советская власть беременна теократией", вовсе не абсурдна и не фантастична. Она, как и некоторые другие националистические, охранительные диссидентские концепции, указывает на существование особой, советской идеологии, то есть на присутствие в официальной (коммунистической) идеологии подсознательных традиционных идеологических пластов.

Наличие этих пластов заставляет намного осторожнее относиться к общераспространенному утверждению, будто коммунистическая идеология окончательно обанкротилась, будто массы и общество полностью утратили веру в нее.

Действительно, вера в коммунистическую догматику, в ее фразеологию и "понятийный" аппарат утрачена. Утрачена вера в возможность реализации коммунистической утопии. Но не утрачена вера в систему ценностей этой идеологии. Для массового сознания такие понятия, как "коллектив", "общество", "народ", "трудящиеся" и даже "советская власть", "государство", "Ленин", по-прежнему остаются нравственными абсолютами, той практической системой надличностных ценностей, вне которой советский человек не может существовать, с которой он сверяет свое личное поведение. Эта остаточная, но крепкая благодаря своей бессознательности вера объясняется и гарантируется, во-первых, традиционной сакрализацией власти и предлагаемых "сверху" ценностей, а во-вторых, тем, что другие ценности попросту не известны, то есть как бы не существуют.

Именно исторически обусловленная, бессознательная идеология создает тот особый, ни с чем не сравнимый советский образ жизни, который невозможно вывести только из коммунистического учения. Это особый унифицированный стиль поведения, одежды, манер и, конечно, чувств и мыслей. Этому стилю жизни соответствует тождественный ему стиль в искусстве — так называемый социалистический реализм.

Всякое отклонение от общего стиля культуры как способа и образа жизни вызывает скандал — в размахе от уличного до

общегосударственного. Достаточно вспомнить борьбу со стилягами в конце 50-х годов, которая в равной степени проходила и на газетных полосах, и на городских улицах; нынешнюю травлю длинноволосых и бородатых, в которой принимают участие и милиция, и простые граждане; тот психологический шок, который испытывает советская общественность от всякого изменения моды (мини или макси — безразлично); запрещение джаза в 40—50 годы; кампании против абстракционистов и т. п.

Разумеется, можно рассматривать эти кампании как спущенные сверху пропагандистские акции, имеющие целью отвлечь и развлечь общество. Ситуация от этого не меняется: тот факт, что общество охотно идет навстречу этим акциям, представляется нам более значительным, чем причина и повод их возникновения. Не менее многозначительна и показательна такая непременная деталь советского стиля, как плакатные прописи афористически-императивного, общефилософского, общеэстетического или эмоционально-политического характера. Мы имеем в виду не плакаты с цитатами из классиков марксизма-ленинизма или призывы очередного партсъезда, а цитаты, извлеченные в основном из русской классической литературы: “Человек — это звучит гордо” (М. Горький); “В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли” (Чехов); “Человек создан для счастья, как птица для полета” (Короленко); “Приветствую тебя, младое поколение!” (Пушкин), как вариант: “Здравствуй, племя, младое, незнакомое!..” (тоже Пушкин).

В первоисточниках эти афористические фразы принадлежали либо литературному персонажу, либо самой авторской речи, то есть и в том, и в другом случае относились к индивидуально-стилистическому пласту языка, входили в систему средств образной, то есть опять же личностной характеристики персонажа или автора. Вырванные из текста, эти фразы приобретают характер анонимной, универсально-безличностной и, что не менее важно, императивной, обязательной и обязывающей мудрости, спущенных сверху указаний.

Соседство Ленина и Брежнева с Пушкиным или партийного лозунга с Чеховым и Горьким не имеет целью, на наш взгляд, уравнивать их в заслугах и “ранге”. Цель и, вероятно, бессознательная цель — иная: вообще снять иерархию, членение бытия “по вертикали” — времени, истории, культуре и ее уровням — и создать однородное горизонтально-плоскостное пространство совет-

ской культуры, где "на равных" присутствуют Маркс и Пушкин, Брежнев и Чехов, партийные лозунги, призывающие повысить производительность труда, и призывы "к человеку", чтобы он "звучал гордо" и чтобы в нем "все было прекрасно". Это, безусловно, способ легитимации советского образа жизни как законного наследника русской и мировой культуры и одновременно легитимация советской культуры именно как культуры коллективистской, антиперсоналистской.

Таким образом, советский тоталитаризм — это не только определенный политический режим (партократия), не только безраздельное господство коммунистической идеологии (идеократия) — это и тотальный характер социального космоса во всех его проявлениях, тотальная культура, тотальная символика. Для советских граждан, по нашему убеждению, тотальность культуры имеет намного большее значение, чем сам по себе господствующий режим или официальная идеология. Советская культура дана советскому человеку от рождения, она первична по отношению к нему, она выступает — если пользоваться психоаналитическими терминами — как "отцовское начало". Эта ситуация хорошо описана в концепции одного из современных психоаналитиков Жака Лакана: "Символическое предшествует субъекту, который еще до рождения подпадает под его власть, символическое смыкается с отцовством, символическое становится на место "сверх-Я". В данном случае это "сверх-Я" — это те социальные условия, в которых советский человек появляется на свет и будет воспитываться и формироваться.

Советский режим никогда бы не смог стать таким "отцовским началом", "сверх-Я" по отношению к индивидууму, если бы между его официальной идеологией и особенностями режима не существовало бы пространство особой советской культуры, включившей в себя и символику режима, и символику идеологии, вобравшей ушедшие в коллективное подсознание культурно-исторические традиции русского народа — имперские, крестьянско-общинные, православные, языческие, азиатские — короче, весь тот комплекс культурно-исторических переживаний, который составлял тысячелетнее бытие России и который, как всякий другой исторический комплекс, уходя из времени, оседает и в сознании (культуре), и в подсознательных пластах, и в коллективном, и в индивидуальном. Исторический процесс не только выявляет связь времен — он ее и стирает, создавая видимость

прерывности в цепи событий. Поэтому единственная возможность заглянуть по ту сторону иллюзий — это изучение социума по его культуре, по его символическим системам, которым индивидуум подчиняется.

Режим, даже не осознавая законов этой символики, активно пользуется ею: напомним хотя бы начавшуюся со времен Отечественной войны русификацию армии и замирение власти с православной церковью. Не случайно в своем "Письме вождям" Солженицын ссылается на эти жесты сталинской политики, как на положительные и перспективные примеры "национализации советского режима". Солженицын не реабилитирует Сталина: он лишь указывает на неизбежность (именно неизбежность, а не просто желательность) для любого господствующего в России режима считаться с ее историческими традициями и национальной психикой. Требование Солженицына сводится к тому, чтобы неизбежное стало осознанным, то есть перешло на уровень ясного государственного мышления, воли и политики.

В сущности, советский режим именно так поступал в прошлом и поступает сейчас. Иначе и быть не может: только общим кровотоком, через который в советское настоящее проникает русское прошлое, можно было создать ту сложную культуру, которая является самым надежным фундаментом режима. Реанимация стиля и символики Российской империи, предпринятая Сталиным в военные и послевоенные годы, общеизвестна, хотя, на наш взгляд, до сих пор не проанализирована. В этом плане интересно сравнить сталинскую антисемитскую кампанию 1948–53 годов с нынешней антисемитско-антисионистской кампанией. В сталинскую эпоху тоже был пущен в пропагандистский оборот миф о всемирном еврейско-сионистском заговоре. Он звучал глуше на пропагандистском уровне (сводясь к стереотипам казенного славянофильства и антизападничества XIX в.), зато был реализован куда более решительно на уровне политическом, — вплоть до подготовки массового выселения советских евреев в Сибирь. Сегодня режим пока воздерживается от масштабных и тем более глобальных антиеврейских акций, зато официальная идеология в этом вопросе все больше смыкается с мистикой русского черносотенства начала XX века с ее прафашистскими установками и изготовленными в охранке "Протоколами сионских мудрецов". Таким образом, за каких-нибудь 25–30 лет советский режим как бы заново пережил предыдущее столетнее развитие Рос-

сии (разумеется, с купюрами, выбирая те его моменты, которые соответствуют природе и задачам самого режима).

При сравнении нынешней антисемитской кампании со сталинской обнаруживается еще одно важнейшее отличие. Тогда, в конце 40-х — начале 50-х годов, кампания была полностью спущена сверху, наверху запрограммирована и спроектирована, встречая более или менее широкую поддержку и понимание и в массах, и среди русской советской интеллигенции. Теперь же мы обнаруживаем два встречных и родственных идеологически оформленных потока: один идет сверху, другой снизу, от общества, из кругов праводиссидентской оппозиции как православного, так и "секулярного" толка.

Можно сказать поэтому, что и режим в целом, и его националистически-диссидентская оппозиция эволюционируют в одном направлении — в направлении специфически понимаемой русификации советской власти. При этом правонационалистическое диссидентство как бы "проговаривает", то есть доводит до стадии осознания и сознательного выбора то, что в идеологии и практике режима существует на стадии бессознательного принуждения.

Возвращаясь к характеристике советского социума в целом, подчеркнем еще раз, что, по нашему мнению, он, как ни одно другое общество, характеризуется обилием, разнообразием и взаимным напряжением неосознанных идеологических пластов, существующих на уровне коллективного, а стало быть, и индивидуального "я". Давно уже доказано, что вытеснение таких пластов из сознания в подсознание индивидуума приводит к распаду "я", к патологии личности. Природа всякого невроза состоит в несоответствии бессознательных влечений и культурно-этических императивов "сверх-Я" (то есть принятой в обществе системе ценностей и ограничений). Таким неврозом страдает и советское общество в целом. Оно не может привести в соответствие друг другу свои составные части: реально существующие ценности и представления — и абсолютно неадекватную им систему установок официальной идеологии.

В свою очередь, официальная идеология со всех сторон размывается этим океаном бессознательного, пронизана им так, что тоже не может свести концы с концами, боится осознать самое себя, и потому склероз, беспамятство — ее единственная защита и способ выживания. В результате, советские люди общаются друг с другом по модели хемингуэевского айсберга: малая часть на

поверхности, остальное — в подсознании. (Возможно, одна из причин беспрецедентной популярности Хемингуэя в советском обществе шестидесятых годов как раз в том и состоит, что его поэтика подтекста совпала с психологической практикой самого общества, а недомолвки и полупамятки, как способ индивидуализации, по которой всегда тоскует советский человек, оказались самым безопасным, недорогим и “знакомым” ему способом.)

Особенно ясно и четко стихия и господство “вытесненных” идеологических установок проявляется на допросах или “профилактических беседах”, которые проводят сотрудники ГБ или представители властей с диссидентами и “диссидентствующими”. На всякую попытку ввести допрос или “беседу” в разумное русло (ссылка на конституцию, кодекс законов; попытка выяснить, что преступного или предосудительного видят представители власти в чтении таких-то книг или в таких-то знакомствах) следует, как правило, ответ: “Не увиливайте!” “Не изворачивайтесь!”, еще лучше: “Не притворяйтесь, вы сами понимаете, в чем дело”.

И это не способ запугивания, не психологический шантаж, — это правда: “собеседник” (допрашиваемый) действительно “изворачивается” и “лжет”. На самом деле он знает, что, скажем, переписывать от руки или перепечатывать на машинке религиозно-философские сочинения Бердяева, Флоренского или “Исповедь” Блаженного Августина, принять у себя в доме иностранца, поддерживать дружеские отношения с семьей осужденного диссидента или ожидающей разрешения на эмиграцию — все это поступки “несоветские”, больше, чем проступок, и не меньше, чем преступление: это — ГРЕХ. И, совершая в прошлом то, в чем его сейчас обвиняют, советский человек знал, что “грешит” и что грех, как и преступление, предусмотренное кодексом, влечет за собой наказание.

А ведь кое-что из наследия того же Флоренского уже появлялось в советских публикациях; Блаженного Августина невозможно обвинить в антисоветской агитации и пропаганде; люди, желающие покинуть страну, не переходят тайком границу, а подают документы в официальные советские учреждения, и, судя по советской же прессе, Советский Союз не только открывает двери иностранным туристам, но и гордится их наплывом. Но “настоящий советский человек” обязан знать (и он действительно знает), что все это — “вывеска”, “товар на экспорт”, а точнее — “всенародная игра” с Западом, в которую должен играть

и действительно играет советский народ во главе со своим "родным правительством". Словосочетание "родное правительство" — вовсе не бессмысленный штамп, а зафиксированное в советском языке представление об "отцовском" характере власти и связи ее с народом по принципу "родства", "семьи", живущей по своим внутренним семейным законам: ведь в семье все понимают друг друга с полуслова и полунамека.

В ситуации допроса или "беседы" разница между диссидентом и "диссидентствующим" скажется не во внешнем мужестве, то есть не в преодолении чувства страха, а в преодолении — у диссидента — чувства вины.

*Диссидент — это не только тот, кто преодолел страх перед советской властью, но еще и тот, кто не чувствует себя перед ней виноватым.*

Мы бы сравнили диссидентское поведение с групповой терапией массового невроза. Эта терапия, в сущности, аналогична той, которую предлагает психоанализ: ее цель — доведение через посредство слова до сознания всех бессознательных идеологических установок и мотивов. В этом своем качестве диссидентство выступает как нечто единое и цельное, а идеологическая дифференциация внутри него — как второстепенное. Поэтому в равной мере могут именоваться диссидентами и "правозащитники", и русские националисты, и националисты других толков, и даже активисты еврейского движения — в той мере, в какой это движение возникло в недрах советского общества и потому больше связано с ним (по принципу отталкивания), чем с сионизмом, как общим национально-освободительным движением еврейского народа в галуте (имеющим свою собственную историю, начавшуюся еще до появления советской власти и, естественно, с ней не связанным). Советский еврей — прежде всего, советский человек. И для того, чтобы стать еврейским диссидентом, участником еврейского движения, он должен пройти те же стадии, которые проходит диссидент-нееврей.

В этих стадиях становления наиболее важной оказывается та, на которой человек осознанно выбирает себя как "иного", "чужого" данному обществу и системе его ценностей, и на основании этого выбора строит свой идеологический образ и социальное поведение. (В этом плане имеется разница между диссидентом вообще и диссидентом-евреем: первый добровольно выбирает свою

чуждость, тогда как второй отчужден от общества, так сказать, "по определению").

Общим для всякого диссидентства является доведение до уровня сознания и сознательной личностной установки неких бессознательных реальностей: "еврейского вопроса", "русского вопроса", "общечеловеческих ценностей" и т. п. Так, правозащитное движение стремится вернуть в социальную реальность демократические принципы, вытесненные режимом в сферу чистой символики, которая даже невроза не вызывает, поскольку общество с этими принципами свое поведение вообще не сверяет и потому никакого несоответствия не ощущает. Борясь за реализацию этих принципов, правозащитное движение обращается не только к власти, как это обычно полагают, но и ко всему советскому обществу в целом, пытаясь приучить его видеть за фразеологией реальность, имеющую значение и отношение к жизни этого общества — хотя бы на уровне сознания, духовных ценностей, своего рода нравственных императивов.

Русские националисты пытаются вернуть в реальность русское самосознание, не желающее растворяться в самосознании "советском", живое ощущение связи с русской историей, не урезанной официальным подходом, культурно-исторические архетипы, определяющие отношение к миру и душевный строй русского человека. Они пытаются переселить их из "подполья" в дом сознания, сообщить этой реальности культурную значимость, узаконить ее в качестве сознательно принятой, признанной и сформулированной идеологии.

С нашей точки зрения, этот общий для диссидентства протест против власти "бессознательного" задевает самые чувствительные и уязвимые стороны советского режима — его ставку на коллективное подсознание, как на самый свой прочный фундамент, и страх перед исчезновением этой спасительной тьмы (а с нею — и своей иррациональностью). В этом смысле весьма симптоматично появление "психушек" в качестве наказания для диссидентов. Принимая все имеющиеся объяснения, мы полагаем, что "психушки" — это еще и своего рода "оговорка" режима, признание им собственной ненормальности и типичная проекция этой ненормальности на другого.

За фасадом мифа об идеологической цельности, монолитности советского общества, преподносимого советской пропагандой, скрывается в действительности плюралистичность — однако не

в западном смысле этого слова, сформулированная идеологически и оформленная политически, а особая плюралистичность бессознательных, вытесненных из сферы общественного сознания установок, интересов и отношений. Напряженная реальность этого "подсознательного" — главнейшая, с нашей точки зрения, экзистенциальная характеристика советского режима, и она же, как уже говорилось, — экзистенциальная база, неиссякаемый источник советского диссидентства.

Поэтому в диссидентстве, в самой диссидентской психологии скрыта боязнь политических переворотов; эту боязнь можно назвать травмой или комплексом революции: абсолютное неприятие самой идеи революционного преобразования общества.

Быть может, именно с этой травмой связан своеобразный парадокс советского диссидентства: будучи качественно новым типом оппозиции по истокам, мотивам и образу действия, оно на идеологическом уровне проявляется как совокупность концепций, обращенных не к будущему, а к прошлому или исправленному и дополненному настоящему. Эта особенность присуща и правозащитному движению, требующему от режима выполнения уже существующих законов и обязательств (таких, как Декларация прав человека или Хельсинкские соглашения), и, скажем, правонационалистической концепции Г. Шиманова, призывающего соединить советскую власть с православием. Не случайно кредо Н. Шафаревича звучит так: "Нужен в о з в р а т к Богу и своему народу".

Безрелигиозный ("языческий") русский национализм свою гносеологию возводит не просто к прошлому, а к прапрошлому — дохристианской языческой Руси; в своих же конкретно-политических рецептах он — калька с немецкого национал-социализма (с заменой "прагерманской" основы на "праславянскую" и немецкого народа как ведущего народа индоевропейской расы на русский).

Марксистское диссидентство (вряд ли таковое имеется сейчас, несмотря на все заверения Р. Медведева, но в 60-е годы оно входило в Демократическое движение) апеллировало к самому недавнему из всех прошедших времен — к "ленинским нормам" и идеалам первых лет советской власти.

Примером этой присущей диссидентству охранительной, антиреволюционной установки на обновление сверху могут служить два диссидентских текста, принадлежащие двум идеологическим

антиподам — “западнику” Сахарову и “почвеннику” Солженицыну: и “Размышления о прогрессе...” Сахарова, и “Письмо вождем” Солженицына в первую очередь предназначались и были посланы советским руководителям.

Свойственное большей части диссидентства стремление сохранить статус-кво порождено, по нашему мнению, страхом перед революционным хаосом, боязнью разрушения не столько политической системы, сколько всего общества в целом (или — в православном национализме Солженицына—Шафаревича — боязнью распада русского национального организма). В правонационалистических диссидентских движениях этот охранительный комплекс превращается в прямую защиту режима и, таким образом, в самоотрицание (например, у Г. Шиманова). Диссидентство возникает как реакция и протест против вытесненного идеологического содержания (в данном случае — против вытесненной из русской культуры традиции сакрализации государства и власти как высшего морального и религиозного авторитета), а кончает возведением этого содержания в ранг новой идеологической установки (то есть сакрализацией советского государства и советской власти).

Существует и другой парадокс диссидентства, на этот раз — слева, в диссидентстве правозащитном. Как будто бы наиболее охранительное, идеологически наиболее конформистское из всех диссидентских движений (“всего лишь” выполнение советских же законов), оно по содержанию и по существу — наиболее революционно, но не в политическом, а в духовном, творческом смысле этого слова. Оно впервые в долгой истории России представляет собой оппозиционное движение, которое во главу угла ставит не социум, коллектив, религиозную или иную общность, а личность и ее права, основные фундаментальные принципы западного либерализма.

Разумеется, в России был свой либерализм, существовала длительная, на весь XIX — начало XX века растянувшаяся либеральная традиция. Но она никогда не была, так сказать, “онтологической традицией”, то есть не была морально освящена, не была принята не только народным сознанием, но и русской культурой. Достаточно вспомнить, что виднейшие ее представители — Достоевский, Толстой, Чехов, Блок (само собой — К. Леонтьев, В. Розанов) — относились к западной демократии и ее установлениям как к буржуазному лицемерию, фарсу, чему-то плоскому, поверхностному, не отвечающему глубинным требованиям жизни

и природы человека — прежде всего, конечно, русского человека (он же “всечеловек”, по утверждению Достоевского). Эту традицию русской культуры и продолжает в наши дни А. Солженицын.

На неглубокий характер русского либерализма, как одну из причин победы большевиков в русской революции, указывал еще Бердяев: “Очень важно отметить, что либеральные идеи всегда были слабы в России, и у нас никогда не было либеральных идеологий, которые получали бы моральный авторитет и вдохновляли. Деятели либеральных реформ 60-х годов имели, конечно, значение, но их либерализм был исключительно практическим и деловым, чисто чиновничьим. Они не представляли собой никакой идеологии, в которой всегда нуждалась русская интеллигенция”.

Мы полагаем, а точнее — предполагаем и надеемся, что глубокие экзистенциальные причины, породившие диссидентство, тот бунт личности против безличностной культуры, который лежит в его основе и в наиболее конкретной социальной форме воплотился именно в правозащитном движении, сообщит ему тот моральный авторитет, которого недоставало историческому русскому либерализму, а высокий нравственный уровень участников движения, их готовность к самопожертвованию во имя прав человека начнут, наконец-то, вдохновлять, как всегда вдохновляют не только самые идеи, но поступки, которые во имя их совершаются.

Возвращаясь к охранительству, как общей характеристике советского диссидентства, мы хотели бы отметить следующее. В политической философии XIX века с его ведущей идеей прогресса и верой в обязательную благость социальных, политических, экономических и культурных изменений всякая идеология, направленная на сохранение существующего порядка вещей, считалась регрессивной, реакционной, так что само понятие “охранительного” в конце концов слилось с понятием “реакционного”. Эта вера в прогресс пошатнулась в XX веке. Сегодня стремление сохранить уже не локальное, а мировое статус-кво, попросту говоря — мировую цивилизацию, уже не нуждается в оправдании с помощью эпитета “прогрессивный”. Оказалось, что и на самом деле “все действительно разумно”, если понимать под “действительным” то, над чем человек не властен — его самого, его внутреннюю природу и внешнее биологическое окружение челове-

чества. Оказалось, что не всякие изменения — благо. В сущности, одна из самых трудных задач XX века — это нахождение границы между “временным” и “вечным”, между теми изменениями в мире и человеке, которые затрагивают их преходящую, временную природу, и теми, которые покушаются на вечные основы жизни. Что в истории принадлежит времени, а что — вечности? Какие традиции в историческом потоке подчиняются циклу рождения и смерти и разрешают ускорение или замедление этого цикла в зависимости от социальных интересов и потребностей, а какие черты личности, социума, нации, человечества отмечены вечностью?

Практика XX века поторопилась ответить на эти вопросы раньше, чем на них ответило сознание. Идеологические утопии “нового человека”, воплощенные в фашизме и коммунизме, привели к катастрофе не только потому, что во имя этих утопий были уничтожены десятки миллионов людей, — они поставили на грань уничтожения саму идею человека, лишив его религиозно-гуманистических корней, без которых человек исчезает, как этическое и культурное существо, даже если ему удастся сохранить себя, как существо биологическое. Нынешнее тотальное преобразование природы средствами современной науки грозит экологическим тупиком и экологической катастрофой.

С этой точки зрения “охранительное” сегодня, выражаясь классическими терминами, безусловно “прогрессивно”, оно родственно самой сущности культуры, одна из целей которых — сохранение опыта, традиций, знаний, исторической памяти народов и человечества в целом. Не случайно поэтому самые замечательные достижения русского диссидентства лежат, на наш взгляд, именно в области культуры.

Проблема, однако, усложняется, стоит нам с уровня “культурного охранительства” и возрождения исторических традиций, как культурных ценностей, перейти на уровень социально-политических воплощений этих традиций. Культурное охранительство можно сравнить с музеем, где в одном и том же зале, а то и под одной и той же витриной любовно хранятся и портрет графа Милорадовича, и пистолет, из которого декабрист Каховский в него стрелял.

С “музейной” точки зрения (а культура, безусловно, не только имеет свой “музейный” аспект, но и практически немыслима без него), портрет жертвы и пистолет убийцы равно значимы

как документы эпохи, "сгустки" времени и памяти. Культура вообще и "музейный" ее вариант в частности примиряют исторические конфликты в общем понятии культурной ценности и культурной памяти. Но если представить себе на минуту, что мы обладаем фантастической возможностью оживить экспонаты, — мы снова встаем перед неизбежностью исторического, а не культурного выбора — или же заставим историю бесконечно прокручивать один и тот же "кадр", лишая ее тем самым возможности самоотрицания, самоосознания и самокритики, то есть — будущего.

С нашей точки зрения, именно привкус такой исторической заторможенности весьма ощутим в русском националистическом диссидентстве. Идея русского национализма, "естественного" права России быть империей, распорядителем и вершителем судеб других народов (то ли на основании особой православной миссии России, то ли на основании особых "всечеловеческих" свойств русского народа) уже были воплощены в исторической практике дореволюционной авторитарной России. Эти идеи не в последнюю очередь обусловили ее крушение, вызвав огромный приток инородческих сил в революцию, которая была для них зачастую проявлением протеста — социального "по форме" и национального — "по содержанию".

Трудно представить себе, во что может вылиться "реанимация" этих ценностей, предлагаемая русским националистическим диссидентством, если учесть, что идеологии эти будут возрождены, уже пройдя через горнило советского тоталитаризма и порожденного им типа сознания, не связанного никакими традициями, никакой памятью со сколько-нибудь свободным обществом и присущим такому обществу плюрализмом мнений и взглядов!

Повторность, "зацикленность" почти всех диссидентских идеологий (за исключением, разве что, правозащитной) связана, на наш взгляд, с упомянутым выше "комплексом революции", который включает в себя и всю послереволюционную историю России с ее коллективизацией, большим террором, ГУЛАГом. Осознание этой страшной реальности (а диссидентство как раз и отличается, и начинается с того, что ее осознает и "принимает" в себя) приводит, как нам кажется, да и не может не привести к своеобразному шоку, который выражается в охранительстве. Мы имеем в виду психологический комплекс охранительства, как средства защиты от настоящего, как возврата в прошлое с

его обязательной идеализацией. И чем отдаленнее во времени идеализируемое прошлое, тем целебнее конструируемая на его основе утопия (в этом плане "марксистское диссидентство", ориентированное на слишком недавнее прошлое, наименее перспективно).

В рассмотренном аспекте русское диссидентство при всем его своеобразии уже не представляется столь одиноким явлением: оно находится как бы на перекрестке характерных для всей современной цивилизации поисков утопических, тотально-спасительных рецептов мироустройства, регрессии в прошлое как защиты от настоящего, поисков утраченного рая. В каком-то смысле крайне правые регрессивные утопии русского националистического диссидентства можно даже сравнить с крайне левой западной утопией Маркузе с его формулой: "Чтобы бороться против репрессий, нужно регрессировать". В соответствии с общей для Запада индивидуалистической традицией Маркузе предлагает индивидуальный путь регресса: возврат к детству, безумие, наркотическое освобождение личности. Русское же националистическое диссидентство следует русской коллективистской традиции и предлагает коллективную утопическую регрессию: православная теократия, расово-почвенный рай, монархический миф. Обеим утопиям равно свойствен инфантильный (в историко-культурном смысле), "заторможенный", "самосохраняющийся" (по отношению к реальности и к самому себе) характер.

Социальный аналог индивидуалистических утопий Маркузе (как это показали хотя бы студенческие волнения в Париже 1968 года) — это социальное же, а не только индивидуальное, погружение в варварство. И есть все основания опасаться, что и реализация правонационалистических диссидентских утопий ни к чему иному, кроме вспышки социального варварства, привести не может, как ни к чему иному не приводили в XX веке охранительные почвеннические утопии.

Подводя итоги, мы хотели бы еще раз обратить внимание на явление, названное нами "парадоксом диссидентства" и, по нашему мнению, центральное для его понимания: будучи абсолютно новым по своим духовным истокам, мотивам и типу социального поведения (и в этом — духовно-психологическом смысле — революционным), диссидентство как идеологическая реальность, как совокупность мировоззренческих концепций и уста-

новок представляет собой редкий в истории феномен возврата к прошлому, охранительства в широком культурно-историческом и социальном спектре.

Трудно предугадать время, когда диссидентские утопии начнут реализоваться, воплощаться в социально-политическую практику, трудно вычислить время перехода диссидентского слова — в революционное дело, трудно сказать, наступит ли вообще такое время и обнаружит ли сложившийся сегодня социально-психологический тип диссидента скрытые в нем революционно-преобразовательные возможности. Пока же о диссидентстве можно с уверенностью сказать, повторяя Зиновьева, только то, что оно — "... самое значительное явление в советской жизни, начиная с революции".

*М. Каганская — литературовед, автор книг о Чехове и Мандельштаме, а также многочисленных статей и эссе в зарубежной русскоязычной прессе; живет и работает в Иерусалиме. Данная статья представляет собой сокращенный и авторизованный русский вариант английского текста, опубликованного в журнале "Перекрестки" (Иерусалим) и любезно предоставленного редакцией журнала в распоряжение "22".*

## Справочник русской алии!!!

Новое коммерческое издание с биографическими данными олим из СССР. Все узники Сиона, активисты алии, бывшие политзаключенные, ученые, писатели, журналисты, деятели кино, художники, музыканты, религиозные деятели, предприниматели, врачи, адвокаты, специалисты в разных областях будут включены в справочник без всякой дискриминации.

По желанию в справочнике могут быть опубликованы также рекламные сведения об организациях, предприятиях, издательствах, ресторанах, мастерских, основанных алией.

Каждый заинтересованный должен направить запрос по адресу: п/я 24027 Maunt Scopus Иерусалим с приложением конверта с оплаченным ответом и подписанным на нем обратным адресом. Желающим будет выслан вопросник.

**Учитите! Этот справочник будет на многие годы главным источником информации об алии. Он познакомит вас друг с другом! Он будет важным источником для историков!!!**

## СУДЬБЫ ИДЕЙ

В наши дни ощущение двойственности своего политического положения стало уже привычным для всякого либерала, который не согласен отречься от своих принципов и изменить делу, в которое верит. Корни этой двойственности уходят в историческую ситуацию либералов прошлого века, для которых враг был всегда справа. Врагом этим были монархисты, клерикалы, аристократы, чиновники, сторонники политической или экономической олигархии, то есть все те люди, власть которых способствовала угнетению, невежеству, несправедливости, эксплуатации, унижению человеческого достоинства.

Естественные симпатии либералов всегда принадлежали и по сию пору принадлежат "левым", то есть партиям, провозглашающим благородные и гуманные лозунги, всему, что направлено на разрушение барьеров между людьми. Даже после очередного неизбежного разрыва с левыми либералы никак не могут всерьез поверить, что их реальный враг может находиться слева. Их нравственное чувство может быть оскорблено тем грубым насилием, к которому прибегают некоторые из их союзников; тогда они протестуют против подобных методов — на том основании, что насилие искажает или уничтожает общую

*Исайя Берлин*

**ЗАТРУДНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО  
ЛИБЕРАЛА**

цель. Они понимают, что гуманная цель, которой добиваются такими безжалостными методами, может превратиться в свою противоположность: свобода — в угнетение во имя свободы; равенство — в новую олигархию, воспроизводящую себя во имя защиты равенства; справедливость — в подавление всякого инакомыслия.

Эта промежуточная позиция всегда предельно уязвима, ненадежна и неблагодарна. В такую ситуацию были загнаны в 1792 году жирондисты, а в 1848 году — Ламартин и Гейне; в таком положении в 1871 году оказались Мадзини и многие социалисты во главе с Луи Бланом, которых оттолкнули методы Парижской коммуны. Но кризисы проходили, трещины зарастали, и прежняя расстановка политических сил, союзов и симпатий возрождалась снова. Умеренные вновь начинали лелеять свои умеренные “левые” надежды. Отчаянная ситуация, в которой они еще так недавно находились, постепенно забывалась и начинала им казаться следствием какой-то временной, непродолжительной абберации.

**Дилемма русских либералов.** В России, однако, это тревожное ощущение, усиливаемое вдобавок еще периодическими репрессиями и террором, превратилось в хроническое состояние — в затяжную, непрекращающуюся болезнь, охватившую всю просвещенную часть общества. Дилемма русских либералов оказалась неразрешимой. Они стремились к уничтожению режима, который представлялся им воплощением абсолютного зла. Они верили в разум, в секуляризм, в права личности, в свободу слова, собраний и мнений, в равноправие групп, народов и наций, в преимущества большей социальной и экономической свободы, а превыше всего — в справедливость. Они восторгались самоотверженностью, чистотой мотивов, жертвенностью всех тех — даже самых крайних — борцов, которые отдавали жизни делу свержения существующего режима. И в то же время они опасались, что ущерб, причиненный террористическими или якобинскими методами, может оказаться непоправимым, превосходящим любые возможные приобретения; их ужасали фанатизм и неразборчивость в средствах крайней левой, ее презрение к единственной известной им культуре, ее слепая вера в утопии, казавшиеся либералам фантастическими, — будь то утопии анархистов, народников или марксистов. Эти русские либералы верили в европейскую цивилизацию, как неопит — в новообращенного бога. Они не могли при-

нять, не говоря уж — благословить, полное разрушение прошлого, даже царского прошлого, которое представлялось им ценностью само по себе и для человечества. Оказавшись между двумя враждующими лагерями, поносимые с обеих сторон, они не уставали повторять свои мягкие и разумные увещевания, не очень надеясь быть услышанными. Они оставались упрямыми реформистами и противниками революций.

Многие из них испытывали сложное чувство вины: в глубине души они сочувствовали целям левых и, отвергаемые ими, пытались со всей присущей им, как честным и самокритичным людям, искренностью подвергнуть сомнению свою собственную позицию. Они сомневались; они искали; время от времени их подмывало отбросить все свои просвещенные взгляды и убеждения и найти душевное спокойствие в переходе в революционную веру, в подчинении ревностным зелотам. Им хотелось удобно расположиться на ложе однозначной догмы, чтобы освободиться наконец от собственной неуверенности, от ужасного подозрения, что прямолинейные решения левых экстремистов могут оказаться в конечном счете столь же рациональными и столь же кровавыми, как национализм, мистицизм или элитизм правых. И все же, несмотря на все недостатки, левые по-прежнему казались им более гуманными, чем окостеневшие, бюрократические, бездушные правые, — хотя бы потому, что всегда лучше быть на стороне жертвы, чем на стороне палача.

**Средства и цели.** Было, однако, одно убеждение, от которого они не могли отказаться: они были убеждены, что цель не оправдывает средства. Они были убеждены, что нельзя пожертвовать уже существующими свободами, гражданскими установлениями, разумными нормами, нельзя низвергнуть их сегодня, воображая, что они, как феникс, возродятся из пепла завтра. Это было бы заблуждением и страшной западней. В 1869 году Герцен писал своему другу анархисту Бакунину, что было бы самоубийственной глупостью восстать против разума на том лишь основании, что его плоды могут быть опасны, затормозить науку, изобретательство, интеллектуальный прогресс до тех пор, пока человечество не очистится от скверны в огне мировой революции. "Нельзя остановить интеллект, — писал Герцен в своем последнем эссе, — лишь на том основании, что большинство его не понимает, а меньшинство им злоупотребляет. Дикарские призывы закрыть книги, запретить науку и броситься в бессмысленный вихрь разрушения —

самый вредный и злобный вид демагогии. Она способна вызвать лишь взрыв самых диких страстей. Нет! Великие революции не достигаются развязыванием подобных страстей. Я не верю в серьезные намерения людей, которые грубую силу и разрушение ставят выше прогресса и достижения компромисса". И добавлял: "Нужно открывать людям глаза, а не вырывать их". Незаслуженно забытая фраза! Бакунин утверждал, что сначала нужно расчислить почву — потом поглядим. Для Герцена это звучало как предвесье темных веков варварства.

То же самое ощущал и о том же писал последние двадцать лет жизни великий Тургенев. Он числил себя европейцем. Единственная культура, которую он признавал, была западная культура: под ее знамена он вступил юношей, под ними оставался до конца. Герой "Дыма" Потугин высказывает мысли самого Тургенева, когда говорит: "Я предан Европе или, точнее — цивилизации. Это святое и чистое слово. А все другие слова — "народ", скажем, или "величие" — пахнут кровью". В своем осуждении политического мистицизма и иррационализма, народничества и славянофильства, консерватизма и анархизма Тургенев был бескомпромиссен.

Но за пределами этих очевидных неприемлемостей перед русским либералом начиналась зыбкая почва. Поддерживать левых в их крайностях означало бы идти против основ цивилизации; выступать же против левых, даже просто не помогать им, бросить их на произвол реакции казалось еще более недопустимым. Вопреки очевидностям, умеренные цеплялись за надежду, что яростный антиинтеллектуализм, который, точно повальная эпидемия, распространялся среди русской молодежи, все это презрение к живописи, музыке, книгам, увлечение политическим террором — всего лишь преходящие признаки инфантилизма, необразованности, разочарования, которые сами собой исчезнут, едва лишь исчезнут породившие их причины. Сталкиваясь с экстремистскими высказываниями и экстремистскими действиями крайних левых, либералы успокаивали себя подобными рассуждениями и продолжали держаться за свой сомнительный альянс.

**Затруднения в мировом масштабе.** Та мучительная раздвоенность, которую русские либералы переживали на протяжении полувека, от 60-х годов прошлого столетия до революции 1917 года, ныне стала судьбой либералов во всем мире. Уточним: во главе сегодняшнего бунта стоят уже не Базаровы. В каком-то смысле База-

ровы выиграла свою борьбу за количественный подход к жизни, за ее подчинение указаниям науки и технологии, за право пренебрегать всем, кроме чисто утилитарных соображений, во всех расчетах, касающихся огромных человеческих масс. Для сегодняшнего истеблишмента более типичен холодный арифметический подсчет затрат и стоимости, который освобождает даже порядочного человека от угрызений совести. Нет больше надобности помнить, что за цифрами научных расчетов скрываются живые человеческие существа, способные страдать и умирать. И это недоверие нынешнего технократического истеблишмента ко всему качественному, неоднозначному, не поддающемуся расчету причудливым образом объединило антирациональных правых и иррационалистических левых в одинаково яростной борьбе с ним. И те, и другие (каждые — с их диаметрально противоположных позиций) осуждают попытку истеблишмента полностью рационализировать социальную жизнь, видя в них угрозу тому, что они почитают главными человеческими ценностями.

Если бы Тургенев жил сегодня, его героем был бы скорее всего молодой радикал, который стремится спасти людей от власти "экономистов" и "статистиков", игнорирующих и презирающих все, что составляет сущность человека и смысл его жизни. Некоторые из этих новых бунтарей нашего времени проповедуют — насколько они вообще способны к связной проповеди — этакие расплывчатые варианты "Естественного закона". Они проповедают общество, в котором люди относятся друг к другу, как к человеческим существам, обладающим полной свободой выражения своего "я", даже самого дикого и необузданного, а не как к потребляющим и производящим винтикам централизованной, глобальной, самодостаточной социальной машины.

**Соблазн экстремизма.** Наследники Базарова победили. А потомки побежденных, этих жалких "лишних людей", всех этих чеховских путаников, невзрачных студентов, циничных и сломленных жизнью врачей, стали сегодняшними экстремистами и умеренными — теми, кто готовится идти на баррикады революций, и их более сдержанными союзниками. Но сходство с прежней ситуацией не исчезло: по-прежнему самые бескомпромиссные из сегодняшних радикалов провозглашают, как некогда Базаров и Бакунин, что прежде всего нужно расчистить почву, полностью разрушить существующую систему; все прочее их не ин-

тересует. Предоставим будущему самому заботиться о себе. Лучше анархия, чем тюрьма, а третьего не дано.

Этот раздающийся время от времени яростный клич находит все тот же знакомый отклик в сердцах наших сегодняшних либералов — немногочисленной, неуверенной в себе, самокритично настроенной, не очень-то мужественной породы людей, находящихся чуть левее центра политического спектра и по нравственным соображениям не приемлющих ни жесткий оскал справа, ни истерическую демагогию и бессмысленное насилие слева. Этот оскал и эта демагогия одновременно и отталкивают их, и гипнотизируют. Их шокирует иррационализм кучки крайне левых фанатиков, но они не чувствуют себя вправе на этом основании отойти от тех, кто претендует представлять от имени молодых и обездоленных, от грядущих поборников прав угнетенных и нищих. Такова глубоко двойственная, временами мучительная позиция нынешних наследников либеральной традиции.

Тот образ благожелательного, озабоченного, самокритичного либерала, сознающего всю сложность истины, который Тургенев создал некогда по своему подобию, стал сегодня универсальным. Это те люди, которые, завидев, что схватка становится слишком жестокой, либо затыкают уши, чтобы не слышать стонов, либо бросаются мирить враждующих, спасать раненых, предотвращать хаос.

**В защиту гуманистической культуры.** Для русского человека XIX столетия, позже других пришедшего на гегелевское пиршество духа, цивилизация и культура значили много больше, чем для пресыщенного уроженца Запада. Тургенев был привязан к этой культуре более страстно и сознавал ее ценность и хрупкость более остро, чем его друзья Флобер и Ренан. Но в отличие от них он различал за спиной лицемерной и ханжеской буржуазии более опасного противника — молодых иконоборцев, стремящихся к полному разрушению культуры в уверенности, что на ее развалинах возникнет новый и более справедливый мир. Он понимал этих новых Робеспьеров лучше, чем Толстой или даже Достоевский. Он считал их цели наивными и чудовищными, но его рука не поднялась бы против них, если бы это означало поддержку сановников и бюрократов.

Русский либерал XIX века так и не нашел иного выхода, кроме постепенности и реформ, разума и просвещения. Чехов как-то сказал, что писатель не обязан предлагать решения; его долг

состоит в том, чтобы описывать положение дел так правдиво, так всесторонне, чтобы читатель не мог больше уклоняться от необходимости думать. Дилемма, стоящая перед нравственным, честным, сознающим свою интеллектуальную ответственность человеком во времена крайней политической поляризации, стала в наши дни глобальной. Трудности, которые когда-то переживала лишь "просвещенная часть" страны, которую тогда не считали даже европейской, сегодня переживают люди, принадлежащие к любым слоям современного общества.

*И. Берлин — профессор, крупнейший специалист в области русской культуры и литературы XIX века, автор книг "Русские мыслители", "Четыре эссе о свободе" и др., лауреат Иерусалимской премии 1979 г.; живет и работает в Англии.*

---

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

Адрес редакции и конторы: 217, r. du Fbg St-Honore, 75008-Paris France.

## КУЛЬТУРА

Нечего скрывать, каждый из нас, навсегда покинувших Россию, испытал в той или иной степени мучительное переживание, которое по-ученому называют "культурный шок". Неважно, в какой именно стране мы приземлились — в Америке, во Франции или в Израиле, — но все мы вдруг оказывались в плену совершенно иной системы ценностей, норм и обязательств, составляющих понятие "культура". И нам, зачастую отнюдь не юным, приходилось в каком-то смысле начинать жизнь сначала — не только и не столько из-за языка, сколько из-за нашего полного непонимания законов и рычагов, определяющих здесь ход вещей. И что греха таить, мы очень часто начинали с того, что выстраивали защитную систему, с одной стороны, охраняющую нас от безумия, с другой, не дающую нам по-настоящему включиться в новую жизнь. Одной из могучих формул этой защитной системы я назвала бы смелое утверждение, что "у них", то есть у обитателей нашего вновь обретенного мира, нет той культуры, ради которой стоило бы забивать себе голову их языком и обычаями. Клянусь, я слышала это не раз от свежееиспеченных жителей Нью-Йорка и Парижа, не говоря уже об Израиле, где

*Нина Воронель*

## ЛИСТКИ ИЗ БЛОКНОТА

### 1. ДАЛЕКО ОТ БРОДВЕЯ

беднягам-аборигенам вовсе нечем от этого обвинения защититься: у них нет ни многовековой традиции, ни признанного общественным мнением культурного наследия. О Библии я сейчас не говорю: многие охотно от Библии отмахиваются, ссылаясь на давность; для них культура включает в себя более поздние и проще усваиваемые достижения.

Внешние обстоятельства израильской жизни легко подтверждали правильность этого тезиса: ведь ни для кого не секрет, что во всей манере организации жизни израильское общество страстно стремится к американизации, хоть особого рассмотрения заслуживает вопрос, насколько эта американизация успешна. Что ж, американская цивилизация, хоть и полная противоречий, в самом что ни на есть земном смысле слова "цивилизация", представляет собой вполне достойный объект для подражания, тем более что в отличие от культуры она, на мой взгляд, вовсе не обязательно должна быть самобытной. Я полагаю, что конструкция перекрестков на скоростных шоссе, устройство ваннх комнат и способы производства антибиотиков могут быть избраны по принципу максимальной эффективности и полностью лишены национальных черт. Принять цивилизацию за культуру при недостаточном знании языка было легко и соблазнительно, а дальнейшие выводы напрашивались сами собой. Особенно склонны были отчаиваться театралы: ведь театр — не кино, его импортировать нельзя, а какой театр может быть в стране, где всего три миллиона жителей, — жителей, а не зрителей! — когда у нас в одной Москве было восемь миллионов. Ведь мы привыкли к другим масштабам, и бескрайним просторам, и многотысячным тиражам — мы приехали из страны, где после убийства тридцати миллионов осталось достаточно для того, чтобы все начать сначала. Итак, мы спокойно приняли версию о негодности израильского театра и повторяли ее с самодовольной уверенностью столичных жителей, заброшенных в глухую азиатскую провинцию. Немногие посещения центральных театров только помогали нам укрепиться в этой уверенности: увы! большинство спектаклей театров "Габима" и "Камери" нагоняют тоску убогим реализмом и вызывают в памяти чеховского Паву, восклицającego "Умри, несчастная!"

Но судьба наша — моя и моих друзей, режиссеров и театральных художников — неразрывно была связана с театром, и постепенно мы начали проникать в скрытые от нас вначале боко-

вые ветви здешней театральной жизни. Перед нами шаг за шагом стала открываться география театральной страны, расположенной далеко-далеко от Таганки и Бродвея.

По счастью, израильский театр пока не проявляет общенародной тенденции следовать американскому образцу. В первом приближении структура его весьма напоминает структуру европейского театра. Самая весомая, хоть не всегда самая интересная его составляющая — это муниципальный театр, получающий поддержку и субсидии от государства. Там обычно богато и многолюдно ставят классику, туда ходит солидная публика, покупающая абонементы на год и планирующая развлечения заранее. Там порой случаются удачные постановки, там не жалеют денег на декорации и костюмы, актеры и режиссеры там получают постоянную зарплату, и будущее их не зависит критическим образом от успеха или провала того или иного спектакля. Режиссер там обычно не слишком нервный, а, говорят, истинное искусство все построено на эксплуатации нервного трепета и горького пота своих создателей.

Когда наш приятель, художественный руководитель Хайфского театра и заведующий отделом драмы израильского телевидения Овед Котлер пригласил нас на премьеру своего спектакля о России двадцатых годов, мы приняли это приглашение с острым чувством предстоящей неловкости. Мы уже год работали в содружестве с Котлером над сценарием телевизионного фильма, мы успели подружиться с ним и оценить его тонкий художественный вкус, быстрый ум и смелость в решении сложных этических проблем. А теперь нам предстояло судить его как режиссера — это было страшно, ведь мы уже привыкли к мысли, что ничего, кроме скуки и стыда за плохое исполнение, нас на спектакле не ждет. В фойе было немногочленно: "Ну вот, никого нет! — сразу мелькнула предательская мысль, — провал!" Мы вошли в зал: к нашей радости он был почти полон, свет погас и на большом экране, натянутом вместо занавеса, замелькали фотографии времен гражданской войны и военного коммунизма, плакаты тех лет и кадры кинохроники. Все это продолжалось недолго, не более двух-трех минут, но тревога уже отпустила нас, постепенно ее сменяло радостное предчувствие — смена картинок на экране была подобрана с точным психологическим расчетом, так что становилось ясно: нам предстоит удовольствие. Экран пополз вверх и открыл перед нами макет большого старого дома, изо всех

окон которого выглядывали отлично сделанные куклы, изображающие местечковых евреев с чадами и домочадцами. Кто-то дернул их за веревочку, куклы дрогнули головками, широко раскрыли рты и запели. Это было так красиво, что мы даже не очень удивились, когда куклы, кончив петь, вдруг рассыпались по сцене, явно никем не управляемые. И только через минуту мы осознали, что это вовсе и не куклы, а актеры — до нас это дошло не сразу, так ловко была создана иллюзия кукольного дома и его обитателей. И на этом, я бы сказала, изысканном уровне условности, остро приправленной сатирическим реализмом, прошел весь спектакль, сделанный по роману Моше Кульбака "Залменианер". Мягкая, почти пушкинская по светлости печаль окрыляла все действие пьесы, рассказывающей об истории большой еврейской семьи, которая добровольно отказывается от своего еврейства ради идеалов интернационализма и социального равенства. Никто не ставил никаких акцентов, ничто не указывало на ожидающий этих людей печальный конец: здесь не любят назойливого морализирования, зритель сам должен решить, что к чему. Инсценировка романа, сделанная в соответствии с замыслом Котлера, поражала своей динамичностью и дерзким пренебрежением воспетых "Габимой" театральных канонов. Время и место, реальность и сны, добро и зло были перемешаны и скомпанованы в странной, неожиданно терпкой гармонии, и актерская игра вполне оправдывала сложные в своей кажущейся простоте режиссерские решения. Труппа играла ровно и профессионально — в спектакле было занято тринадцать человек, и никто не выглядел неуместно или провинциально. "Значит, и такое возможно!" — с удовольствием говорили мы. Впрочем, одна ласточка не делает весны — и мы предпочли постановить, что наш Котлер просто выдающийся человек, раз он сумел такого чуда достигнуть.

Прошло несколько месяцев, за время которых до нас дошел слух о блестящей постановке "Двенадцатой ночи" Шекспира, сделанной Беэр-Шевским театром. Занятые своими делами — мы в то время спешно готовились к постановке телевизионного фильма, — мы пропустили время, когда можно было купить билеты на этот спектакль — и так на него и не попали, несмотря на старания наших друзей-актеров. Так велик был ажиотаж. К сожалению, по причинам административным: кто-то уехал, кто-то ушел в другой театр и еще что-то необъяснимое, — спектакль свое существование окончил, и мы уже больше его не увидим.

Теперь мы уже твердо решили не пропускать ничего, что стоило бы посмотреть. И потому, когда прошел слух, что Хайфским театром сделана смелая инсценировка рассказа Кафки "Метаморфоза", мы постарались попасть на первый же спектакль, привезенный в Тель-Авив. Пока мы толклись в фойе в тщетной надежде достать билеты для пары наших менее шустрых друзей, я рассматривала собравшихся. Естественно, что на первый тель-авивский просмотр пьесы собрался весь цвет тель-авивской богемы. Честно говоря, это зрелище очень напоминало фойе Дома кино или Дома писателя перед закрытым просмотром итальянского или французского фильма. Даже странно было, что все эти знакомые по облику, разве чуть-чуть более экстравагантно одетые люди, говорят не по-русски. Зазвенел звонок, и мы вошли в зал: на сцене возвышалась голая металлическая конструкция, не прикрытая ни занавесом, ни экраном, ни темнотой. Я бы не взялась ее описать детально, одно могу сказать: она состояла из двух соединенных под прямым углом стальных трапеций, причем горизонтальная поддерживалась на весу еще парой трапециевидных подпорок. В том месте, где трапеции сходились, возвышался черный помост, величиной и формой напоминающий гроб, а на авансцене стояли три крохотные белые табуреточки на металлических ножках. Это была вся декорация и вообще вся материальная часть спектакля, никаких других предметов режиссер Стивен Берков не использовал, их заменяли мимика, свет и звук. Началось действие: измученный тяжелой работой коммивояжер Грегор, понуждаемый семьей работать без отдыха, превращался в насекомое. И на наших глазах происходило чудо: одетый в черные брюки и черный жилет поверх белой рубахи актер Ашер Царфати, странным и неестественным образом изогнувшись на черном помосте так, что меж его растопыренных под острым углом колен была видна обращенная вниз глазами и вверх ртом голова, а перед ней два огромных пятипалых щупальца, образованные непрерывно шевелящимися пальцами, превращался в насекомое. Перед взором потрясенной семьи любимый брат и сын бегал по металлическим прутьям трапеций, переворачиваясь на спину и повисая вниз головой, — и это было так достоверно, а при этом условность замысла и выполнения столь неправдоподобно проста, что всему залу немедленно передался ужас матери и сестры. А на белой задней стене, раздваиваясь под остро направленным световым лучом, дергалась и мелькала в воздухе отбрасываемая Гре-

гором тень, абсолютно напоминающая испуганного таракана. Уполз по стене, забился в угол голодный таракан, и, оставшись наедине со своей бедой, отчаявшаяся семья сбилась в тесный клубок, над которым в мерцающем розовато-сиреновом сумерке замелькали шесть белых, кажущихся в этом освещении огромными, рук — и ни у кого не было сомнения: перед зрителями на сцене билось в тоске огромное неведомое шестиногое насекомое. Три искусно подкрашенных и освещенных лица образовали пугающе-уродливый и не менее прекрасный панцирь насекомого. Насекомое зарыдало, но не человеческим голосом, а мучительно-высоким сопрано — то ли флейты, то ли скрипки. Плач его был пронзителен и невыносим, хотелось рыдать вместе с ним. Зато, когда сестра, вспоминая прошлое, начинала играть на скрипке (скрипки, конечно, никакой не было, как не было ни смычка, ни последней картофелины, которую каждый хотел отдать другому), музыкальные инструменты молчали: актриса пела нежно и мелодично, от чего вся эта сцена приобретала особую невесомость и ирреальность. Я не стану пересказывать содержание всем хорошо знакомого рассказа Кафки, я хочу только сказать, что до сих пор инсценировка его представлялась делом неосуществимым и безнадежным. И столь блестящее его воплощение, безукоризненное во всех деталях, несомненно по плечу только настоящему профессиональному театру высокого класса.

К тому времени мы уже знали, что в Израиле, кроме государственного театра, большим успехом пользуется театр коммерческий. Его задача проста и понятна: заработать как можно больше, то есть создать нечто, максимально привлекательное для широкой публики. Классикой там конечно и не пахнет: широкую публику на классике не проведешь. Новаторством тоже: широкая публика новаторства не признает. Чем же привлекают зрителя многочисленные коммерческие постановки, собирающие по вечерам желающих отдохнуть и развлечься после рабочего дня? Просмотрев программу наиболее успешных коммерческих спектаклей, я с удивлением обнаружила исключительную добропорядочность широкой публики: ее не заманишь на эротические феерии, ее не завлечешь кровавыми убийствами, она жаждет трогательной, пусть даже порой печальной, любовной истории. Ей не важно правдоподобие, ей неважна художественная убедительность, она хочет сказки, ей хочется хоть на час получить то, чего не хватает в жизни: дыхания истинной любви. Вот уже полгода с неизменным успехом

идет на коммерческой израильской сцене бесхитростная французская комедия "Дневник встреч", обработанная на израильский лад изысканным драматургом Нисимом Алони. В ней рассказывается, как немолодой гуляка-холостяк безумно полюбил обиженную им когда-то хитрую девицу, почти силком проникшую в его холостую квартиру. Во время спектакля я с интересом следила за подобрившими, смягченными сопереживанием лицами зрителей и думала, что мир еще не так близок к гибели, раз людей может умилить и растрогать эта совершенно неправдоподобная выдумка.

Конечно, не только тема и качество исполнения создают коммерческий успех, главное дело в нем — приманка. На сегодня ни имя автора, ни имя режиссера приманкой служить не могут: публика идет на актера-звезду. Роль актера так велика, что именно с него обычно начинает продюсер свой замысел, ибо только под известного актера можно поднять деньги на продукцию. Израильские условия особенно тяжелы для коммерческого театра по той же причине, по которой они тяжелы для развития любой отрасли промышленности или культуры: Израиль слишком маленькая страна, здесь очень трудно вернуть вложенные в любое дело деньги. Этим обстоятельством диктуются некоторые специфические особенности израильского коммерческого театра — малолюдность труппы и простота декораций. Так как ни один город из-за своей малочисленности не может выдержать большого количества спектаклей, все они разъездные, — а, значит, набор людей и декораций должен быть транспортабелен — притом недорого транспортабелен. Наилучшее число актеров — два, максимально возможное — четыре, никак не больше, место действия — желательно одно, время действия желательно — наше, стиль действия — желательно реализм, настроение — лирическое, конец — счастливый, героиня — молодая, общий тон — пастельный. Из перечисленного ясно, что особых надежд в области художественного новаторства от коммерческого театра ждать не приходится. И глаза обращаются к театру экспериментальному — бедному сиротке, который никто не субсидирует и в который ни один уважающий себя продюсер денежек своих не вложит. И все же такой театр есть — он держится на энтузиазме и на тех возможностях, которые предоставляет начинающим, ибо для некоторых, увы! немногих — это трамплин, оттолкнувшись от которого можно выпорхнуть на профессиональную сцену. У экспериментального театра своя публика — отнюдь

не широкая ни по вкусам, ни по количеству; и своя судьба — дерзать и прогорать, чтобы снова, собравшись с силами, дерзать и снова прогорать. И так без конца, хоть немногих счастливых на этом пути постигает успех. Не все спектакли экспериментального театра интересны — я употребляю термин “театр” в данном случае собирательно, на деле это бесчисленное множество недолговечных мелких студий и групп, у которых нет ничего, кроме энтузиазма: ни денег, ни помещения, ни транспортных средств, ни других материальных благ. Представления такие группы обычно дают в кафе, в маленьких клубах, в картинных галереях.

О существовании экспериментального театра я узнала впервые, когда режиссер и драматург Иосеф Мунди пригласил нас на свой полуночный спектакль. Я не оговорила — именно полуночный, так как начинался он ровно в полночь в пятницу в кафе “Бетховен” или, как произносят это израильтяне, “Бет’овен”. Понадобилось не меньше двух лет жизни на Святой Земле, чтобы мы узнали, что развлекаться здесь лучше всего в пятницу вечером, когда уже началась суббота, категорически эти развлечения запрещают. Не знаю, то ли просто из чувства противоречия, то ли оттого, что люди благочестивые в этот вечер не отравляют веселья своим благочестием, но нет ничего веселее тельавивских улиц в пятничный вечер: далеко за полночь нарядная красивая толпа захлестывает рестораны и кинотеатры, разноцветные огни освещают переполненные столики уличных кафе и, конечно, нигде нельзя припарковаться — количество машин на мостовых может сравниться только с количеством пешеходов на тротуарах.

В тот вечер это выглядело так ослепительно празднично, что я невольно вспомнила Хемингуэя — “Праздник, который всегда с тобой”. Локтями и зубами прорвавшись сквозь сплошной строй джинсовых мальчиков и девочек вокруг столиков пиццерий и стоек-баров мороженых, мы не без труда отыскивали вход в глубокий подвал, над которым светилась вывеска “Бетховен”. По извилистой каменной лестнице спустились мы куда-то в преисподнюю и оказались на пороге изогнутой полумесяцем большой комнаты, тесно заставленной низенькими плетеными столиками. Никакой сцены не было и в помине, более того — на первый взгляд вообще не было места для какого бы то ни было сценического действия. Нас усадили на низких круглых чурбанчиках, заменяющих в “Бетховене” стулья. От двери нам махнул рукой Иосеф

Мунди — режиссер и драматург, эксцентричный человек, автор скандально нашумевшей несколько лет назад пьесы “Комендант Иерихо”. Пьеса эта под восторженный вой и неистовые проклятия публики повествовала об израильском коменданте-садисте арабского города Иерихо, по-русски Иерихона. Я несколько раз бывала в Иерико, я проезжала и проходила по его тенистым улицам, засаженным неправдоподобными субтропическими деревьями, на которых листьев меньше, чем цветов, поднималась по выбитым в скале ступеням к выбитому в скале монастырю, где монахи не пьют никакой воды, кроме дождевой (а дождь там бывает не чаще двух раз в год), и где дьявол сорок дней искушал Христа, и спускалась к котловану раскопок дворца царя Ирода, и не заметила никаких следов издевательств. Мирные люди неспешно трудились и торговали под сенью причудливо резных пальмовых ветвей, слева тускло-золотистой грядой холмились Иудейские горы, которые после Кавказа можно назвать горами только с целью польстить местным жителям, справа золотисто-тусклой змейкой сочился Иордан, который даже в самом страстном стремлении польстить нельзя назвать рекой. А над всем этим изнывало от многовекового зноя тускло-золотое небо, проклятое Иосефом Мунди в его скандальной пьесе. Поближе познакомившись с Мунди и его творчеством, я поняла, что напрасно искать реальные жизненные обстоятельства, побудившие его построить тот или иной образ или конфликт. Мелкие житейские детали не увлекают его творческое воображение — он певец идеи и выстраивает жизнь в своих пьесах относительно идеи, иными словами развешивает на ветвях философского дерева соответствующие случаю жизненные обстоятельства. Я спешу подчеркнуть, что подобное определение нисколько не умаляет драматурга и его творения в моих глазах, я давно уже освободилась от шор соцреализма и понимаю, что сложность бытия оправдывает весь спектр художественных средств и направлений при искренней попытке эту сложность описать или хотя бы обозначить. Но в тот вечер у меня еще не было никакого представления о Мунди, и я была готова ко всему, так как уже знала, что после “Коменданта Иерихо” он порвал с эстаблишированным государственным театром и отважно ринулся в новаторское экспериментирование на свой страх и риск.

Свет погас и в полной тьме раздался леденящий душу крик: “Бомба! Бомба!”, быстрый топот по дощатому полу, хриплое

дыхание-бормотание: "Где она, куда они ее спрятали? Сейчас взорвется!", и свет вновь вспыхнул, осветив на крохотном с носовой платок пяточке между передним рядом столиков и потрепанном пианино двоих — один был нервный, взъерошенный, мелко-кудрявый, он лихорадочно кружил вокруг второго — бледного, вялого, аморфного, непонятно как уместившего свое длинное тело в причудливом изгибе на пяточке между пианино и ножками ближайших столиков. Так началось первое, увиденное мною представление израильского неофициального театра. В кабачке "Бет'овен" ровно в полночь с пятницы на субботу давали пьесе Иосефа Мунди "Кафка и Герцль". Как можно догадаться уже из названия, в центре внимания драматурга была идея Теодора Герцля о создании на территории Палестины еврейского государства. Согласно своим драматургическим принципам Иосеф Мунди не сделал даже попытки, показать зрителю реальные детали сегодняшней жизни — его интересовал только морально-философский аспект воплощения в жизнь идеи Герцля, и ему посвятил он полтора часа напряженного сценического действия. В сумасшедшем доме где-то под Тель-Авивом в одной палате живут двое душевнобольных — один твердит, что он Теодор Герцль, другой — что он Франц Кафка. Избрав этот уводящий от реальности способ письма, драматург предоставил себе полную свободу при обсуждении волнующих его проблем. Герои Мунди ни за что не хотят верить, что Израиль уже существует и что они его граждане. Оба убеждены или убеждают себя, что живут в Европе где-то после первой мировой войны и с живостью обсуждают преимущества и опасности, связанные с возможным созданием еврейского государства. Горячечный бред и частая смена настроений, а также садо-мазохистские склонности обоих дают автору богатые возможности превратить схоластические споры в насыщенное яркими событиями представление. Активная роль все время принадлежит Герцлю — он полон надежд, а терзаемый сомнениями Кафка не может избавиться от страха, что еврейский народ, основав собственное государство, лишится своих исключительных качеств, станет обыкновенным народом, как другие, и ничего не останется от его избранности. Более того, исходя из сегодняшнего понимания происходящего, драматург вкладывает в уста Герцля и Кафки разоблачительные речи, направленные на критику особенностей сегодняшнего Израиля. Его Герцль уже знает, что на смену полному сомнений и божественного трепе-

та народу Книги, пришли хорошо сложенные мальчики в хаки, твердо идущие к земной цели и верящие в силу оружия больше, чем в силу слова. Его Герцль уже знает, что каждый, приехавший в созданную его воображением еврейскую страну, предстает перед жителями этой страны без знаков различия, заработанных им в прошлой жизни, и должен начинать все сначала. Но это знание не останавливает его, ибо образ его народа в рассеянии тоже не кажется ему привлекательным, и он без конца разоблачает несчастного Кафку, воплощающего для него галутную робость, слабость, неуверенность в себе. И ни на секунду нельзя забыть, что автору пьесы, в отличие от его героев, известны истинные события двадцатого века; он помнит о газовых камерах и лагерях смерти, о которых якобы не подозревают его Кафка и Герцль. Вооруженный этим знанием он может сколь угодно свободно манипулировать своими персонажами, швыряя их из одной крайности в другую, от отчаяния к восторгу, от страха к надежде. После того как я посмотрела спектакль, я прочла пьесу в русском переводе и увидела, как много добавила к несколько хаотичной и многословной манере драматурга его блистательная режиссура. Главной особенностью Мунди-режиссера в отличие от Мунди-драматурга является его музыкальное чувство ритма — он умеет держать зрителя от начала до конца в состоянии предельного напряжения благодаря тончайшему чутью, помогающему ему построить действие именно в такт с колебаниями зрительского восприятия. И я подумала, как он должен быть счастлив, что всегда может проявить себя не только как драматург, но и как постановщик. Пускай он в силу политических или личных причин вылетел из обоймы государственных режиссеров, это не помешало ему поставить все, что им написано. Ибо все, им написанное, нашло сценическое воплощение. Конечно, его постановки ограничены в средствах, но истинные любители современного театра могут беспрепятственно наслаждаться плодами его творчества: его пьесы исполняют регулярно лучшие актеры страны. Пусть без пышных декораций, пусть без оркестра, зато всегда с полным сбором. Порой его спектакли рассчитаны на публику самую изощренную, то есть немногочисленную, — например, пьеса “Дневник будней” идет в картинной галерее, где всего три ряда стульев, зато у автора всегда есть чувство истинного контакта с аудиторией.

И потому, когда я узнала, что Иосефу Мунди удалось поставить

свою новую пьесу в самом маленьком зале "Габимы" — "Габимартеф" — я поспешила посмотреть ее при первой же возможности и не пожалела. Уже самый факт сотрудничества крайнего диссидента (я употребляю этот термин в западном смысле, имея в виду не политический, а эстетический нонконформизм) с самым традиционным театром Израиля, напоминающим скорее не живой организм, а пышный памятник себе, можно рассматривать как чудо. Не знаю, как это чудо могло произойти, но оно произошло, и в подвале "Габимы" три раза в неделю с неизменным аншлагом идет пьеса Мунди "Пьяная карусель", о которой он сам говорит так: "Я попытался представить в театральной форме жестокую и подчас фантазмагорическую реальность". Не надо обманываться словом реальность: никакого отношения к реализму эта пьеса не имеет. В ней нет ничего, напоминающего обычную пьесу в общепринятом смысле этого слова — это набор причудливо скомпонованных эпизодов, отвечающих некоей сложной авторской задаче. Действие пьесы происходит в Париже, по которому автор бродит, увлеченный сказочным водоворотом парижской жизни, подавленный сознанием своей неуместности и ненужности в этой чужой жизни и тяжело раненный зрелищем жестокости и непотребства открывающегося ему мира. Одна из сцен представляет собой аукцион, где продают по частям человека: жадная толпа яростно торгуется, называя все более высокие цены за руки, ноги, голову, аукционщик по мере покупки отпиливает проданные части, и счастливые новые обладатели радостно уносят их в корзинках. В другом эпизоде лирический герой работает воспитателем в приюте для дефективных детей и с ужасом наблюдает, какую карикатуру на нормальный мир взрослых они представляют, как они с удовольствием мучают друг друга без всякой причины.

Мунди несомненно принадлежит к школе французских экзистенциалистов: жизненные обстоятельства в произведениях этой школы служат только материалом для выстраивания действия, продиктованного эстетическими и философскими идеями автора. Таким образом подобраны наполненные символической многозначительностью эпизоды пьесы "Пьяная карусель". Наиболее весомая ее часть называется "Красное метро", где под непрерывно возникающий монотонный вой проходящего поезда метро в свете спящих фар сменяют друг друга мелкие эмоционально насыщенные сценки-столкновения. Вот проститутка ссорится

с солдатом инвалидом: выкрикивая непристойные ругательства, они хвастают друг перед другом высокой ценой, по которой им удавалось продавать свое тело. Вот рабочий беседует с интеллигентом: рабочий жадно слушает разглагольствования интеллигента о несправедливом устройстве мира и о грядущих потрясениях, но, узнав, что собеседник его — поэт, в ярости убивает его, называя пиявкой и прихлебателем. Вот ремонтные рабочие, застигнув в ночном пустынном метро пару бездомных бродяг, жестоко расправляются с ними: швыряют под проходящий поезд нелепого, не умеющего постоять за себя, парня и насилуют девушку. Вся декорация спектакля состоит из выкрашенных в черное стен и нескольких сценических площадок, расположенных на разных уровнях. Главным достоинством спектакля можно назвать ритм режиссуры, заставляющий и актеров, и зрителя находится в непрерывном напряжении. Цветовая симфония, создаваемая увлекательным кружением разноцветных бликов и чередованием темных и светлых сцен, гармонично сочетается с музыкальным сопровождением, столь же странным и завораживающим по ритму, как и драматическое действие. В спектакле занято всего пять актеров, они преобразуются на глазах публики с головокружительной частотой, переодеваются, появляются слева, справа, выскакивают откуда-то из-под пола и спрыгивают с крохотной площадки под потолком, создавая ощущение бесконечной вереницы обитателей фантастического мира, ангелов и бесов личной преисподней драматурга. Время от времени из мрачных глубин авторского подсознания стремительным вестником гибели проносится затянутый в черную кожу мотоциклист на ревущем мотоцикле, расстреливая всех встречных из автомата: мгновенная паника, грохот, выстрелы, вой сирены — и его уже нет, он исчез так же непостижимо, как и возник.

Я не думаю, что Мунди-драматург слишком самостоятелен, в его творчестве прочитывается явная принадлежность к французскому театру абсурда, но Мунди-режиссер умудряется всякий раз внести в постановку свежий взгляд на мир и яркую трактовку собственного текста.

Вот то немногое, что мне пока удалось узнать о структуре и возможностях израильского театра — это только вступление, главное знакомство еще впереди. Но волшебная дверь в глухой доселе стене уже приоткрылась и ясно, что за ней лежит заселенное пространство, которое стоит нашего внимания.

## 2. В ЗАЩИТУ "ЧИСТОГО ИСКУССТВА"

В тот светлый период шестидесятых, когда советские вожди еще только начали выращивать кукурузу в тундре, но и помышлять не помышляли о вводе своих танков в братскую Прагу, когда советские интеллектуалы воображали, что не позже завтрашнего дня наступит истинный расцвет всех демократических свобод, режиссер Геннадий Юденич создал передвижной театр-студию "Скоморох". То было время смелых дерзаний и необоснованных надежд, и потому отважный бродячий театр с ходу сделал заявку на пересмотр основных принципов отечественной историософии. Геннадий Юденич так и назвал свой спектакль: "История государства Российского" — на меньшее он не претендовал. В спектакле под неприхотливый рефрен "Земля у нас богата, порядка только нет" никак не могли разорвать заколдованный круг неизменные Ваня и Маша. Они встречались и любили друг друга, невзирая на эпоху, а эпоха каждый раз разлучала их, оставляя Машу горько рыдающей над окровавленным трупом очередного Вани. На смену старому царю или князю приходил новый, Ванин сын подрастал и встречал свою Машу, они любили друг друга, но вновь случалась война или террор и вновь безутешная Маша горько плакала над Ваниным трупом. Все представление не только манерой построения, но и лихой балаганной условностью вызывало ассоциации с известной народной песенкой "У попа была собака..." и очаровывало эдаким особым отчаянным разгулом висельного веселья. Даже трагический подтекст не мог смягчить залихватского присвиства, молодецкого притопа и скоморошьего обличительного смеха. Жадная до политических намеков и прозрачных аналогий публика встретила спектакль на ура: после короткого бродяжничанья по алтайским и сибирским клубным сценам театр Юденича триумфально въехал в Москву. Пару лет он был нарасхват: в переполненных залах Дома журналиста, Дома кино и Дома писателя. В клубах крупных научно-исследовательских институтов осмелевшие "сливки" столичной научно-художественной интеллигенции горько хохотали и восторженно плакали над судьбой Вани и Маши, так трогательно напоминающей их собственную судьбу. Начальство пока помалкивало. То ли оно не получило соответственных доносов, что сомнительно; то ли было введено в заблуждение довольно неук-

люжей концовкой спектакля, в которой чудом уцелевшие в огне революции Ваня и Маша под сенью алых знамен отправлялись в тундру выращивать кукурузу; то ли просто время еще не пришло: надежды хоть и потускнели, но все еще смутно озаряли завтрашний день. Но к концу шестьдесят восьмого вещи вернулись на круги своя: с надеждами было покончено, со смелыми дерзаниями тоже, кое-кого посадили, кое-кому заткнули рот, и театр "Скоморох" закрылся по велению свыше. Несколько голодных лет научили Юденича уму-разуму: когда к семьдесят первому году ему удалось собрать новый бесприютный ансамбль, программу спектаклей он продумал тщательно и с расчетом. В ней не было никаких сомнительных рефренов, никаких полупрозрачных намеков: она просматривалась вся насквозь, до дна, и даже самый придирчивый глаз не углядел бы в ней крамолы. Потому никакой крамолы в ней не было. Весь свой недюжинный режиссерский дар Юденич потратил на решение формальных задач, подчеркнуто пренебрегая всеми другими аспектами творческого процесса: он постарался сделать захватывающе-интересным зрелищем "Оптимистическую трагедию" Вишневского, эту давно устаревшую безвкусную псевдоромантическую псевдопозему о столь дорого стоившей России революции. Но, полностью сосредоточившись на формальной стороне режиссуры, Юденич ни словом, ни намеком не обмолвился о переоценке роли и последствий революции — он рассказывал о ней так, словно она произошла вчера вечером и последствия эти никому еще не ведомы.

Все в этом спектакле было поразительно и эффектно: первая сцена состояла в мерном движении волнообразно набегающих к рампе боевых шеренг, которые в мелькающем свете падали на полпути под оглушительный рокот артиллерийской канонады, стремительно катились почти до оркестровой ямы, единым прыжком соскакивали в нее и по-пластунски уползали за кулисы, чтобы через миг выйти в том же боевом порядке, снова упасть, прокатиться по голому дощатому полу, спрыгнуть в яму, уползти за кулисы и снова выбежать к рампе. Ритм движения, света и звука завораживал почти гипнотически, и ошеломленный зритель на миг верил в великие возможности революционных масс. Не было ни костюмов, ни декораций: тридцать отлично тренированных цирковых актеров, не получающих ни копейки ни за спектакли, ни за репетиции, двигались в такт тексту, создавая живую иллюстрацию к каждой реплике. Я не преувеличиваю: не к каждой сцене,

не к каждой ситуации, а именно к каждой реплике. Это была грандиозная работа. И жалкий "Город на заре", украденный когда-то на заре советского театра Алексеем Арбузовым у Александра Галича (было бы что красть!) — насквозь лживый ура-патриотический миф о постройке Комсомольска-на-Амуре, — превращался в блистательное сценическое действие, в котором ложь чудесным образом начинала казаться правдой. И даже самый зоркий глаз не нашел бы там намека на тех истинных "комсомольцев в бушлатах", которые этот Комсомольск строили — ибо Юденич начисто выкорчевал из постановки все, что могло бы зародить малейшее подозрение в возможности такого намека. И он достиг своего: говорят, он получил, наконец, театр — нормальный, не бездомный, со сценой, кулисами, гримерами, костюмерными, где актеры получают зарплату и билетерши, помахивая программками, провожают зрителей на указанные в билетах места. Московская интеллигенция разделилась: одни восхищались виртуозностью режиссера, другие яростно осуждали его за предательство. А ему было все равно: он был готов на все ради профессионального осуществления. Его театральное ремесло давно стало его религией, его божеством, он мог заложить свою душу любому дьяволу, только бы иметь возможность превращать чужие слова в сценическое действие.

Я вспомнила о нем сейчас, через пять лет разлуки с Россией, когда посмотрела отмеченный Каннским фестивалем фильм чешского режиссера Джири Мензела "Прелестные люди с кинопроектором". Рассказать содержание этого фильма непросто, вернее — слишком просто: если сделать это, первой реакцией собеседника будет пренебрежительное пожатие плеч и недоумение по поводу Каннского фестиваля. Но, уверяю вас, Каннский фестиваль не ошибся, выделив особо фильм Мензела, — просто прелесть этого фильма состоит в том, что почти невозможно описать словами. Первые кадры сразу же заставляют лишний раз подивиться чудесам кинематографа: перед нами тускло-коричневый огромный — во весь экран — портрет старой дамы. Такие старинной работы фотоснимки засушенными цветами шуршат среди ломких от времени листов в покрытых пылью альбомах наших бабушек — в них каждая деталь, пробуждая ностальгию по прошедшей жизни, полна навеки утраченного для нас очарования. Цветы на шляпе, веер в руке, кружевной воротничок у поблекшей шеи, подлокотник громоздкого кресла, талия, затянутая в корсет. Все

в прошлом... Но вот портрет оживает — дробно, фрагментами, кусочками, мозаичными осколками, он дышит — чуть иной в каждом последующем кадре. И за этим ломким, дрожащим изображением угадываются первые шаги кинематографа, его первые попытки воспроизвести поток бытия, остановить и запечатлеть мгновение. В изысканных, тронутых желтизной синевато-коричневых пастельных тонах течет перед нами непрехотливая, почти бессюжетная история о том, как первый чешский продюсер осмелился создать первую чешскую киноленту. Тема сама по себе не привлекающая внимания — ну не все ли равно миру, как это делалось именно у чехов, тем более что у других было это к тому времени уже сделано? Но суть, выходит, не в истории — история вообще нужна была, по-видимому, только тем, кто проводил сценарий по инстанциям для утверждения. И потому, отметая в сторону бесхребетные “что” и “во имя чего”, режиссер сосредоточился на единственном, что ему оставалось — на изобразительных средствах. Бродячий кинотеатр развозит по Чехии немые фильмы, от деревни к деревне устало бредут лошади, волоча за собой убогий фургон. На облучке трое: молодой плотный мужчина в усах, его молоденькая дочка-дурнушка, играющая на скрипке или на разбитом пианино во время сеансов, и очаровательная сиротка, дочь его покойного коллеги, служащая в “деле” киномехаником — она крутит ручку кинопроектора. Прокатчик встречает молодого человека, посвятившего свою жизнь созданию кино: он и оператор, и режиссер, его играет сам Мензел. Они подбивают известных чешских актеров перейти от импортного кино к отечественному. Вот и весь сказ. Скучновато, не правда ли? Но как описать подлинность сизых булыжников на улицах старой Праги, как рассказать о мягком юморе актерского исполнения и блистательной архитектуре каждого кадра, живого, полного неповторимых деталей и маленьких открытий? Как передать словами изысканное богатство палитры режиссера, ни разу не нарушившего заданной себе самому пластической задачи: сохранить верность старинным фотографиям бабушкиного альбома во всем, от цвета неба до фактуры мебели и одежды? Ни одной драматической сцены, ни одного яркого пятна на протяжении всего фильма и ни на секунду не становится скучно, так богато переливается экран приглушенными красками, блестками смеха, плеском музыки, выразительностью актерской игры. Весь фильм начинен, как пирог изюмом, старыми кинолентами,

вернее — маленькими фильмами, сработанными в стиле старых немых лент. Они затейливой вязью вплетаются в ткань фильма, они украшают его зрительно и музыкально, благодаря им некоторые кадры похожи на ювелирные изделия: по центру драгоценным камнем искрится мастерски стилизованная немая лента, а вокруг ажурной оправой группируются сколки реальной жизни — прически, шляпы, лысины зрителей, их улыбки в профиль, их слезы в анфас. И вся эта виртуозная техника употреблена режиссером на то, чтобы ничего не выразить, чтобы ничего не сказать, чтобы создать впечатляющее завихрение пространства вокруг пустоты.

Тут-то я и вспомнила Геннадия Юденича с его виртуозной сценической техникой — ведь и автор “Прелестных людей с кинопроектором” был полон смелых дерзаний в период пражской весны. Это он получил когда-то Оскара за фильм “Поезда идут нерегулярно” и получил его не зря: то была отважная попытка увидеть живых людей за скульптурными лицами героев Сопротивления. И попытка блистательная. А сегодня, через десять лет, когда большая половина его пражских коллег живет в изгнании, а остальные лишены работы, а подчас и свободы, его единственная цель свелась к созданию шедевра из ничего. А может, в этом и состоит истинное искусство? А может, и впрямь великие империи потому и создают памятники культуры, что затыкают творцам рты, и тем только одно и остается — сосредоточить все силы на разработке новых приемов, на выражении тончайших оттенков, на передаче непередаваемого, на достижении недосягаемого? Кто сказал, что искусство обязательно должно отражать наши метания, нашу земную боль, нашу будничную суету? А может, оно и впрямь должно быть выше этих мелочей? Может, оно в том и состоит, чтобы запечатлеть навек сизый налет на пожелтевшей от времени фотобумаге, чтобы сохранить дыхание ушедшей эпохи, чтобы успокоить и утешить нас — маленьких, растерянных, усталых?

*Н. Воронель — репатрировалась из СССР в 1974 г., живет в Тель-Авиве (Израиль), поэтесса, драматург и переводчик, автор книг “Прах и пепел” и “Папоротник”, а также ряда других произведений, публиковавшихся в русскоязычной эмигрантской печати и экранизированных израильским телевидением.*

*М. Юрьев*

### МАТЕРИАЛЫ К НАШЕЙ БИОГРАФИИ

*(“Память”, сборник исторических материалов, выпуск второй, Самиздат, 1979)*

К великому моему сожалению, принцип рецензирования в русской зарубежной печати таков же, как и в советской: во всяком случае — по большей части. Принцип этот я называю “вариантом подмены”. Рассматривая художественный текст, рецензент, желая выразить свое неудовольствие, предъявляет к рассказу, повести и т. п. те или иные “социально-политические требования”. А поскольку никакой художественный текст таким требованиям не удовлетворяет, то он, текст, всегда окажется плох. Обратная ситуация: разбираются некие научно-документальные, политические и прочие труды. Рецензент превращается в эпигона романтизма, такого наивняка, украшающего свои замечания эпиграфами из любимых лирических поэтов и родимых мыслителей, сам пытается писать чуть ли не гекзаметром ... Иначе говоря, обижается на автора учебника геометрии за то, что автор такой сухой и бессердечный. Винит мемуариста в излишней наблюдательности, комментатора мемуаров — в придирчивости.

Весьма показательна в этом смысле реакция г-на К. Любарского на дневниковые записи Э. Кузнецова (“22” — 5): (“Как он мог, как он опустился!...”) и лиро-эпические бутады г-на Р. Блехмана (“22” — 3) по поводу первого выпуска сборника “Память” (“Р. Пименов язвительно комментирует мемуары Шифрина. А Шифрин — мой сосед”).

Подобные рецензии напоминают мне методы работы советских дикторов: чтение с “отношением” — говорится об успехах хлеборобов на бескрайних просторах социалистических стран — диктор истекает счастливым оргазмом, сообщается о злодеяниях израильской военщины — голос чтеца гневно крепнет и дрожит от возмущения.

Но если, скажем, записки Кузнецова, помимо фактического материала, включают и медитативные, и сатирические, и философские фрагменты, то сборник “Память” никаких таких медитаций не содержит. И — уверен — его составители не предполагали, что их работа вызовет “беллетристическую реакцию”. Мы с легкой руки создателей запрещенной и полужаппрошенной литературы прошлого века привыкли, что вся “крамольная словесность” — предназначена для массового читателя. Самиздат действительно был рассчитан как бы “на всех”. Но сборники “Память” — есть самиздат (вернее, “тамиздат”) весьма специальный, исторический, во многом — историографический. Наконец, — научный. Воспоминания Н. Мандельштам,

о которых грустил Р. Блехман в своей рецензии на первую книжку "Памяти", — документальный роман, высокая проза. Те же, "мелкотравчатые" — по мнению Р. Блехмана — мемуарные тексты, помещенные в "Памяти", не есть проза художественная, но свидетельства. Так сказать, материалы к биографии. И, кстати, на обложке "Памяти" обозначено: "Исторический сборник".

Л. Копелев в своей статье о первом выпуске "Памяти" ("Русская мысль") отметил высокое качество справочного аппарата. Второй выпуск "Памяти" не менее профессионален. Его составляли специалисты; не достойные всяческого уважения "эмоциональные" борцы с произволом — а ученые. И если их ученость сочетается с известной долей неприязни по отношению к упомянутому произволу — тем хуже для него, для произвола, то есть...

И. И. Вацетис не был беллетристом, не был он и мастером мемуарной прозы. Его заметки читаются тяжело — и даже "скучноваты". Ибо И. Вацетис был первым главнокомандующим вооруженных сил республики, сыном латыша-батрака, выпускником Академии генштаба, полковником русской армии, перешедшим на сторону большевиков. Но тот интересующийся, кто заставит себя пробиться сквозь вполне булыжную стилистику краскома Вацетиса, будет вознагражден. Перед ним особенности "работы коммунистов с военспецами", свирепые и трусливые вожди, начавшие грызть друг дружку немедленно после переворота, nepoтuзм и лицемерие, расстрелы, которыми только и поддерживалась дисциплина "непобедимой и легендарной" ... Вот отрывок из диалога между мемуаристом и военным руководителем Высшего военного совета РСФСР М. Д. Бонч-Бруевичем.

Б.-Б. Мой план обороны построен на общем отступлении к Москве, как в Отечественную войну... сжигая все по пути...

Вацетис. Но в центре государства голод ... и, кроме того, вы разрушите страну на сотню лет.

Б.-Б. Ну и хорошо, тогда сюда никто не придет.

Самое время сказать: "комментарии излишни".

И прямо от лояльного, но, увы, слишком правдивого краскома — к воспоминаниям В. В. Янова — одного из заметных деятелей толстовского движения, пережившего его расцвет и упадок. Вопреки привычному мифу, толстовское движение окончательно ликвидировано только в 1936 году, а отнюдь не после гениальных статей В. И. Ленина, разоблачившего реакционную сущность "непротивления". 1918 — 1919 гг. — время распространения деятельности последователей толстовства. "Не будет преувеличением сказать, что такие успехи движения объясняются давнишними приятельскими отношениями В. Г. Черткова с В. Д. Бонч-Бруевичем, тогда — управляющим делами СНК РСФСР ("Память", стр. 83). Братья — Михаил и Владимир Дмитриевичи ...

Ясно, однако, что обиды рецензентов вызывают не воспоминания, подобные краскомовским или толстовским. Жгутся воспоминания о временах менее отдаленных. Во втором выпуске "Памяти" — единственные в своем роде мемуары Революта Ивановича Пименова, поэта и математика, фактического основоположника российского демократического инакомыслия. Его записки — уникальное пособие по духовной и политической истории советского общества 50-х начала 60-х годов. Я не стану пересказывать и цитиро-

вать Пименова, но всякий, кто "заинтересовался диссидентством" в середине семидесятых — незадолго до (или после) эмиграции (или репатриации) — должен был бы прочитать их. Опять-таки, трудно будет удержать в голове все бесчисленные "контрезисы на тезисы", подробнейшие воспроизведения разговоров тогдашних "неомарксистов" ... Все прошло, все минуло. Но вот упоминается знакомец — именно тогда начал свою карьеру А. Гидони, главный свидетель обвинения на процессе ВСХСОН (Огурцов, Вагин и др.), кандидат исторических наук, а ныне — главный редактор "независимого журнала "Современник", выходящего в Торонто (Канада). Журнал, поговаривают, весьма прилично распространяется. Во всех почтенных эмигрантских изданиях я вижу его рекламные объявления. Может, кто из знакомых подписался? Пименова-то читать недосуг ... Ну, как найдется сердобольный сосед, попеняет по-соседски язвительному мемуаристу.

Я коснулся только трех — правда, самых крупных, — публикаций второй "Памяти". Упомяну еще блестящую библиографическую заметку А. Булатова "О последних изданиях Ахматовой" — постепенное выхолащивание опубликованных в "период неразберихи и волюнтаризма" стихов из современных советских сборников — сообщение В. Глазова о русской катакомбной Церкви (по воспоминаниям В. Я. Василевской), мемуарный очерк И. Мельчука "Мои встречи с КГБ" — несколько недостающих штрихов к ненаписанному портрету сегодняшнего чекиста. Об этом мало кто любит вспоминать — понятно, психологически понятно. А Мельчук — вспоминает. А "Память" — печатает ... А то все Ежов, да Ягода, да Берия, да "тупоголовая кагебня".

Единственной неудачей второй книги "Памяти" мне кажутся страницы — долгие! — интервью с М. Поповским. Сплошная ликвидация последствий культа личности, скромный героизм честного писателя на фоне злобного упрямства недобитых сталинистов. Историей и не пахнет, факты — недоказательные, да и не слишком существенные. М. Поповский начал было писать книгу о павшем жертвой необоснованных репрессий академике-селекционере Вавилове. Сталинисты книжку зарубили. Жаль. О самом же интересном — Вавилов с а м дал дорогу своему убийце Т. Д. Лысенко — сказано невнятно и раздражающе-дипломатично. Краткое сообщение о контактах Вавилова с Лысенко дало бы значительно больше. Но и на этом я не настаиваю — составителям "Памяти" виднее.

*Ю. Гофман*

## АРИЕЦ ИЗ КОНОТОПА

В апрельском номере журнала "Новый мир" за 1979 год произведен переворот в науке, которого, кажется, никто еще не заметил. Если так, мы будем первыми. Имеем честь представить публике первооткрывателя и его текст: Дмитрий Жуков, статья "Из глубины тысячелетий".

Статья представляет собой рецензию на другую работу — книгу Н. Гусевой "Индуизм", но мы этой книги касаться не будем, чтобы не показалось, будто мы хотим умалить заслугу автора, заставляя его разделить приоритет с кем-то другим. Дело не в индуизме, а в том, откуда он взялся. Индуизм, как теперь выясняется, возник "на прародине арьев — в южно-русской степи и лесостепи". Именно эта мысль, всецело принадлежащая автору, и привела его, по его собственному признанию, к книге Гусевой и к последующим открытиям.

Чтобы их оценить по достоинству, нужно напомнить о заблуждениях прошлого — о том, как принято было смотреть на эти вещи до сих пор. До сих пор считали, что черты сходства древнеиндийского литературного языка, санскрита, с другими языками, составляющими индоевропейскую семью,<sup>1</sup> объясняются общим происхождением. Предполагалось, что в глубокой древности существовал индоевропейский праязык, и с некоторой неуверенностью постулировалось существование пранарода, говорившего на этом языке и вступившего в контакт с соседями — предками угрофинских, кельских или семитских народов. Так как индийцы, говорящие на индоевропейских языках, в том числе на хинди (языке, который по отношению к санскриту находится примерно в такой же степени родства, как русский по отношению к старославянскому), населяют главным образом северную часть Индостана, была предложена теория, по которой аборигены Индии были некогда покорены пришельцами — носителями гипотетического индоевропейского языка. В Ригведе, древнейшем санскритском памятнике, созданном, по всей вероятности, в конце 2-го тысячелетия до н. э., упомянуто о войнах индийских племен, из которых некоторые именуется арьями.

Где обитали эти арьи — вопрос, который близорукие ученые так и не могли решить. Самый архаичный из современных индоевропейских языков, литовский, существует в Европе, поэтому можно было предположить происхождение арьев откуда-то из этого региона. Называли Скандинавию, Северную Германию, долину Дуная. Более осторожные люди предпочитали говорить о пространстве между Рейном и Волгой. Выдвигались и другие гипотезы, родину арьев искали в Причерноморье, в Средней Азии, на Тибете, даже в Северной Сибири. Последняя версия — Ближний Восток; она основана на изучении открытых недавно в Месопотамии клинописных текстов XV—XIII вв. до н. э., в которых упомянуты имена царей с отчетливой индийской (индоарийской) этимологией.

Всем этим домыслам пора теперь положить конец. Добрые люди подсказали Дмитрию Жукову, что огонь по-санскритски будет "агни". "Веды" похоже на слово ведать. "Шива" (был такой бог) буквально значит темносерый — почти что сивый. Пить, например, пить водку, — по-санскритски "пи". Все эти слова принесли в Индию арьи, а откуда взялись арьи? В свете только что приведенных языковых данных вопрос перестает быть загадкой.

"Отмечено огромное количество сходств в санскрите и славянских языках", — отмечает автор статьи "Из глубины тысячелетий". Ясно, что арьи или, употребляя более знакомый нам термин, арийцы — это не кто иной, как предки славян. Одна часть их осталась на родине, "в южной части европейской территории СССР", а другие отправились в Индию, куда они

принесли "нормы обычного права и социально-этические представления", создали там Ригведу, другие Веды — санскрит, индуизм и все остальное.

Если автор продолжит свои ценные изыскания, то, заглянув в учебник сравнительного языкознания, он сможет узнать еще более поразительные вещи. Многие слова русского языка сходны не только с санскритскими, но и с латинскими, греческими и Бог знает еще какими. "Огонь" похоже не только на агны, но и на ignis. Сходство санскритского jtvah, литовского gyvas, латинского vivus, греческого bioz, старославянского "живъ" бросилось в глаза еще Уолтеру Джонсу, основоположнику сравнительной морфологии индоевропейских языков. По-русски "мать, матери", а по-санскритски matar, по-мидийски matar, по-персидски madar, по-гречески matar, по-латыни mater, по-литовски moteris, по-древневерхненемецки muoter. Русскому "мед" соответствуют древнеиндийское madhu и древнегреческое medu; даже в неиндоевропейских языках есть похожие слова: древнееврейское matok — "сладкий" и древнеирландское mid — "медовый напиток". А названия числительных? В русском языке "семь", в старославянском "седьмъ", в санскрите sapta, в греческом епта, в латинском septem, в древневерхненемецком sibun, на иврите seba. Если совпадение санскритских слов с русскими служит доказательством того, что арийцы — это праславяне, то почему бы не считать, что от славянских прародителей произошли и остальные индоевропейские народы — персы, греки, римляне, германцы, литовцы и так далее?

Кстати, о славянах. До сих пор было принято считать, что местом обитания племен, давших начало славяноязычным народам, была область между реками Одером и Десной, на север от Карпат и к югу от Балтийского моря; здесь существовал предполагаемый праславянский язык. Лишь позднее, — утверждали ученые, игнорируя патристические соображения, — эти племена мигрировали в нынешнюю европейскую часть СССР. Самые смутные упоминания об этнических группах, которые можно идентифицировать со славянами, относятся к VI веку нашей эры. Древнейший письменный язык славян — старославянский, возникший на основе македонских диалектов, — сложился в IX в., первые памятники древнерусского языка относятся к X—XI векам. Получается, что вторжение арьев в Индию произошло по крайней мере на двадцать столетий раньше, чем на исторической сцене появляются славяне. Причем появляются достаточно далеко от сопредельных с Индией стран.

Все это теперь тоже надо похерить. Не славяне произошли от праиндоевропейцев, а наоборот — индоевропейцы от "праславян". И жили эти праславяне там, где и положено им жить, — на территории России, исконной земле арийцев. Отсюда они несли диким соседям свой язык, "социально-этические представления" и прочее.

Переходя от языка к культуре, Дмитрий Жуков размышляет о "близости древнеарийских и древнеславянских мифологических представлений, которая могла сложиться на общей прародине". У славян и индийцев были, оказывается, одни и те же боги; славяне с тех пор, разумеется, ушли далеко вперед, а индийцы так и остались со своими импортированными богами. У них были общие обычаи, например (это установила Гусева), они воздавали должное "опьяняющим напиткам". Об этом свидетельствует близость соответствующей лексики (смотри выше). Правда, утверждение, будто у славян практиковались человеческие жертвоприношения, вызывает у

автора статьи "Из глубины тысячелетий" справедливый отпор: это выдумки "христианских хронистов". Но общий вывод "о наличии арийского субстрата в формировании славян и скифов" не подлежит сомнению.

В этом отношении предки автора стоят значительно выше германцев. В работе Т. Алексеевой, напечатанной в журнале "Вопросы истории" (1974 г., № 3), установлено несоответствие антропологических признаков у германцев и восточных славян. О чем это говорит? Согласно Д. Жукову, — "о гораздо более раннем отбытии предков германцев с прародины, о различных смешениях". Немцы — не чистокровные арийцы, не то что славяне. Не говоря уже о том, что "часть немцев является онемеченными славянами, а немецкая культура обогащена очень древней и мощной славянской культурой"\*.

После этих экскурсов в разные стороны автор совершенно естественно (мы этого ждали, не правда ли?) обращает взор на евреев. Какая связь между Индией и евреями? А вот какая: хваленая Библия, по сведениям Дмитрия Жукова, есть не что иное, как плагиат у индусов. Индийский эпос "Махабхарата" содержит "в себе" лагенды, которые, как выяснилось, были потом включены в Библию. Точнее, не легенды, а "многие из легенд, повторенных в этой книге". То есть составители Библии обокрали не одну "Махабхарату", но и кого-то еще. Кого же? Автор поясняет: "Эти сюжеты чрезвычайно древние, и к их созданию, возможно, имели отношение наши предки, жившие в Северном Причерноморье". Наши, а не ваши!

До сих пор ученые наивно полагали, что оба памятника возникли примерно в одно и то же время. Если верить справке, приведенной в советской Литературной энциклопедии, книги Библии создавались в Палестине в промежутке от XIII до II веков до нашей эры; Пятикнижие существовало в готовом виде к У в. до н. э. Истоки "Махабхараты", сложившейся на основе устных сказаний племен и народностей северо-западной Индии, восходят, согласно той же энциклопедии, ко второй половине 2-го тысячелетия до н. э.; редакция эпоса была произведена в IУ веке до н. э., а затем в У—УII веках нашей эры.

Автор статьи "Из мглы тысячелетий" может похвастать более точными данными. При той уверенности, с которой он ориентируется в этой мгле, ему ничего не стоило установить, что на самом деле "Махабхарата" создана "за сотни лет" до Библии. Интересно, за сколько сотен? А ведь правда: что стоило сионистам во втором тысячелетии до нашей эры прошвырнуться в Индию, а то и к славянам, чтобы наворовать для своего сборника наиболее пикантные странички!

Все дело в том, что за тысячи лет сионисты не изменились. Какими они были, такими и остались. Взять хотя бы тот же индуизм. Казалось бы, что общего у него с сионизмом? Индуизм — наше, арийское достояние. Но и тут сионисты мутят воду. По секретным сведениям, которыми располагает автор, они создали индуистское общество. Это общество "имеет почти неограниченные средства на пропаганду, главный центр в США и филиалы во многих странах". Богатые, черти! А цели общества все те же — сеять

---

\* Это "наносит удар и нынешним неонацистам, повторяющим басни о превосходстве немцев над славянскими соседями".

раздор и смуту, заставить людей забыть "о насущных требованиях своей страны и своего народа"... Этой нотой охранительного гнева, сводящей воедино все концы, завершается национал-исторический этюд о "корнях" и "истоках", которым одарил читателей бывший либеральный "Новый мир".

Безграмотная болтовня Дмитрия Жукова не заслуживала бы внимания, если бы она не была зловещим симптомом. Будь наш младенец чуточку сообразительней, он понял бы, что ему нет надобности громоздить турусы на колесах и ломать голову, сочиняя наукообразные формулировки: все откровения насчет родины арьев, чистопородных предков и т. п. были сделаны сорок лет назад в сочинениях, выходивших в Германии; все это уже сказано идеологами третьего рейха. Нужно только заменить германо-арийскую "нордическую расу" арийцами-славянами.

Полвека назад выдающийся отечественный лингвист И. А. Бодуэн де Куртене высказал свое отвращение к "индогерманской мегаломании". Теперь мы дожили до индославянской мегаломании. Об этом стоит задуматься. Стоит задумать над тем, почему одни и те же идеи, одни и те же слова, одни и те же жупелы попеременно рождаются на берегах Шпрее и Москвы-реки.

У нас на глазах происходит удивительный сеанс оживления трупа. То там, то здесь, то из-под глыб, то со страниц официальной прессы слышатся голоса, призывающие к возрождению "национального самосознания". Это возрождение осуществляется в формах, наиболее понятных сердцу черни, — на языке национальной спеси, мании величия, подозрительности и ненависти к другим народам. Но было бы ошибкой считать эти чувства издержками патриотизма. Не любовь к родине и ее прошлому подвигает малограмотных публицистов на сенсационные исторические и этнографические открытия. Всему этому есть другое имя.

**Вышел в свет, рассылается подписчикам и продается  
в магазинах Русской книги**

**СИНТАКСИС № 5**

**журнал публицистики, критики, полемики**

**Читайте в номере: Эдуард Кузнецов — Хеппи энд, Абрам Терц — Очки, Е. Эткинд — Наука ненависти, Б. Шрагин — Синдром "нормального человека", Игорь Померанцев — Читая Фолкнера, Жан Катала — Слово из тьмы, И. Померанцев — Старик и другие, Лев Копелев — Советский либератор на Диком Западе.**

**Журнал редактирует:**

**М. Розанова**

**А. Синявский**

**Цена номера — 20 франков**

**Подписка в редакции на 4 номера — 70 франков**

**Адрес редакции: "Syntaxis" 8, rue Boris Vilde**

**Fontenay aux Roses, France**

Михаил Хейфец

## ПИСЬМА ИЗ ССЫЛКИ

*Окольными путями до нас дошел отзыв М. Хейфеца на рецензию А. Воронеля на его (Хейфеца) книгу "Место и время" (см. "22", № 3). Мы публикуем соответствующие отрывки из письма М. Хейфеца, а также реплику рецензента.*

### *4.4.79. Дорогой Я...!*

*Рецензия Воронеля меня очень заинтересовала. Забавно то, что в принципе я с ним согласен, только все эпитеты прилагаю к нему самому: и не счит того, что мы переживаем переходный период и т. д. Видишь ли, Воронель (по твоему пересказу) выглядит советским человеком, изменившим доминанту марксизма на доминанту сионизма, а в остальном оставшимся советским. Это очень распространенное среди советских евреев-сионистов явление. Например, он признает, что каяться есть в чем, но — не перед кем. А раз виноваты все народы, то из этого не делается вывода, что каяться надо всем и начать с себя, а — что не стоит этого делать вовсе. Очень спокойно так жить: и вроде ты честный (признаешь свои вины — но про себя), и никто этого не узнает... Если говорить конкретно, то, разумеется, отцы Квецко тоже виноваты перед евреями: это азбука. Евреи и украинцы и так знают, что погромы — нехорошо. Но евреи не знают до сих пор, что быть пособниками колонизаторов и империалистов тоже нехорошо, во всяком случае с точки зрения XX века. И это им надо обязательно сказать! А пособниками негодяев они очень часто были — и в истории с отцами Квецко тоже ("служили", как говорит Воронель). Но не будем углубляться в историю, а посмотрим — это сделает проблему яснее для всех — в сегодняшний день. Конкретно, возьмем самого Воронеля. Он был физиком или математиком, так ведь? Советское правительство очень не хотело его выпускать. Обычно оно делает это с людьми, чьи работы прямо или косвенно важны для военного ведомства. Следовательно, возможно, он — и уж во всяком случае тысячи и десятки тысяч его коллег-евреев в совнауке работали на оборонную промышленность. И — чтобы все стало ясно до кристалльности — израильтян в четырех войнах убивали из оружия, в которое была вложена немалая частица изобретательности и таланта коллег А. Воронеля из числа евреев-ученых — а, возможно, его*

самого? Впрочем, в этом он, кажется, готов каяться. Ну, а другие народы, в которых стреляли из этого оружия — перед ними они готовы признать свою вину? Например, перед чехами? Перед венграми? И т. д. "Цивилизатор...". Нашел козла отпущения — Трофим Денисович Лысенко! Сахаров — тот кается в своем преступлении и делом пытается исправить зло, причиненное им, — и зло искуплено. А коллеги А. Воронеля? "Есть в чем каяться, но не перед кем". Удобная позиция — и чисто здешняя: главное, чтобы мы сами себя простили, а остальное неважно. Некогда громили Молотова (снимая с поста мининдела) за то, что он не нормализовал отношения с Югославией. Молотов возражал: "Тито держит в тюрьме наших друзей коммунистов (московского толка), как с ним мириться?" На это Микоян мудро возразил: "Ты вспомни, как решали дело с Лозовским! Человечек был 50 лет в партии, а мы его обвинили, что он английский шпион и расстреляли. Мы себе это простили? Простили. Почему же мы не можем простить Тито?" Понимаешь? Главное, что мы себе это простили, остальное неважно. Можем и других прощать. Это я и называю советским человеком.

Воронель жаждет больше не танцевать на всех свадьбах, а заняться своим народом. В общем, я с этим согласен и пишу именно об этом, но ... разница принципиальная в том, что просто замкнуться на себя в наше время означает вызвать ненависть к себе (вспомни мелочь: то, что писал Баграут о евреях-политзэках) и, возможно, гибель государства. То есть замыкание в себе означает предательство своего народа — объективно. Израильская дипломатия уже добилась своим нежеланием танцевать на чужих свадьбах сильной изоляции Израиля. Страна держится исключительно поддержкой Штатов, это надо понимать трезво. И уже, кажется, поняли, что нет ничего вечного, в том числе и в Штатах. Достаточно однажды Штатам воздержаться в Совете Безопасности — и экономических санкций будет довольно, чтобы задуть страну, которая без сырья. В этой ситуации самоизоляция и ориентация только на себя — путь к самоубийству (национальному).

Почему я принимаю все это так близко к сердцу? Когда ребята из Гуш Эмуним шумят при встрече Картера — это неплохо. Такая краска нужна на палитре общества: они противостоят мещанам, которые готовы все отдать без борьбы. Но не дай Бог, если им подобные станут важной или тем паче главной краской в израильском обществе. Однажды, в 70-е годы нашей эры они уже профукали Иудейское царство своей решительностью и мужеством. И до этого тоже не раз проигрывали это государство — в борьбе с Вавилоном, хотя бы. Упаси Ягве от их губительного мужества на руководящих постах! А я не хочу быть пророком Иеремией — мне хочется пожить в Израиле, а не оплакивать его.

19.4.79.

В предыдущем письме я, по-моему, был в запальчивости и не слишком справедлив к Воронелю лично. Ведь лично он-то как раз хоть что-то делал, чтобы не быть рабом какого-то там генерала. Но его мнение — это персонафицированно выраженное мнение его круга, круга еврейских научработников в СССР. Их, по подсчетам М. Поповского, примерно 10% от общего

числа научработников Союза (при менее чем 1% населения), а научный потенциал, наверно, тянет на все 20–25%, так как работают в условиях повышенной конкуренции. Один из них (моих знакомых) очень переживал за Израиль, слушал каждый день клеветническое радио, знал все ваши новости и больше, чем израильские дела, переживал только из-за того, что приходится работать в КБ обычного, а не оборонного завода — там, мол, работа интереснее и платят лучше. Как-то у него это вместе легко уживалось. Видимо, был цивилизатор.

Воронель не хочет понимать следующего: русский человек имеет право на добросовестное заблуждение относительно разных поступков и деяний своих и общественных. Он имеет право желать, чтобы его государство было мощным, покорило или вело за собой других и т. д. С этим можно не соглашаться, но понять это можно и еще понять, что русский человек в этой ситуации лично остается честным, даже если общественно делает дурное дело. Еврей же в силу хотя бы существования Израиля и особого положения евреев в СССР всегда двуличен и нечестен в той же самой ситуации, что и русский — именно поэтому советская власть ему не очень доверяет и правильно делает. При этом часто он лицемерит и обманывает самого себя — изощренный, но и самый подлый способ лицемерия.

Что касемо истории, в том числе украинской, то в наше время стоит осознать, что прослойку, обслуживающую врага, население не любит. Вспомни "Белую гвардию" М. Булгакова. Там изображен с симпатией несчастный еврей, который побежал за акушером для своей жены и наткнулся на петлюровского сотника. Стал доставать документы и по ошибке достал мандат на закупку продовольствия для армии гетмана — объективно бывшего русско-империальным ставленником германских оккупантов. Петлюровец торопился и был милостив — снес еврею голову сразу.

Можно, конечно, оценить это и по рецепту Воронеля: своего убили, жалко, сволочь-петлюровец. Для первичного политического сознания этого хватит. Но теперь, когда евреи имеют свое национальное государство и проливают за него кровь, они способны понять большее: что в глазах петлюровца еврей был тем же, что в глазах бойца израильской армии какой-нибудь неараб — пособник ООП. Например, архиепископ Капуччи или солдаты ООН, переносившие в Хайфу взрывчатку. Думаю, что в момент войны солдаты Израиля тоже снесли бы голову такому пособнику врага. Или ошибаюсь?

В том и дело, что сейчас мы способны и должны понимать больше, чем в 20-е годы. Это и вопрос выживания Эреца в современном мире.

А. Воронель

**КТО НЕ ЗНАЕТ ГРЕХА, ТОМУ НЕ УЗНАТЬ И ПОКАЯНИЯ**

(реплика по поводу письма М. Хейфеца).

Я рад, что М. Хейфец ознакомился с моей рецензией на его книгу "Место и время" и ответил на нее. Мне жаль, что он не вчитался в рецензию настолько, чтобы понять, что я не против покаяния как такового или осуждения наших общих грехов. Я против того, в высшей степени легкомыс-

ленного, признания нашими грехами всякого проявления нашей жизнедеятельности, которое М. Хейфец готов разделить с представителями других братских народов. Так же и острие моей рецензии было направлено не против него, который пишет в условиях российской изоляции, а против его парижских друзей, которые придали изданию его книжки аромат, не соответствующий первоначальным намерениям автора, а уж их-то не заподозришь, будто они не в курсе какого-нибудь дела здесь, на Западе.

Мне кажется, что в рецензии содержатся ответы и на новые замечания М. Хейфеца и я ничего существенного к уже сказанному не сумею добавить. Но есть в его письме один пункт, не касающийся еврейских дел, который бросает новый свет на всю дискуссию. Походя, он упоминает А. Сахарова: „Сахаров – тот кается в своем преступлении и делом пытается исправить зло, причиненное им, – и зло искуплено...” Дальше он говорит об остальных физиках и уже с ними, что они, дескать, не так хорошо справились (там, кстати, мне лично выдано отпущение, так что я не корысти ради...) и потому еще подлежат его суду. Тут несколько приоткрывается мне механизм его покаяния, который вызывает тревогу. Он, когда кается, кается за других, а своей вины не чувствует. То есть физики, которые якобы честно работали на советскую власть, виноваты, а он, писатель, который чего-то там советское всю жизнь писал и учил детей, очевидно, не замешан в этом общем преступлении и потому может их обвинять. Я хочу здесь подчеркнуть со всей серьезностью, что А. Сахаров никакого преступления в жизни не совершил и остался бы порядочным человеком и без своего героического служения. Интерпретация его поведения, как покаяния, совершенно произвольна и сильно упрощает проблему. Каждый член современного общества творит добро и зло одновременно, и М. Хейфец не меньше А. Сахарова причастен ко злу, которое творится в СССР, и, кстати, во всем мире. То, что он этой своей причастности не чувствует, а приписывает ее мифическим физикам (бесполезность физики как таковой для вооружений сравнима только с литературой, но обе оказываются серьезным оружием, если направляют на это свои усилия), показывает, что и покаяние его не серьезно, ибо может каяться лишь тот, кто грешил. И осознал это. Вот и выходит, что мы возвращаемся к тому, о чем я писал в своей рецензии. Нам нужно всерьез обдумать и обсудить свои дела со своим народом. Поговорить с другими мы успеем...

## “Двадцать два” — 1980 (№№ 10–15)

Эдуард Кузнецов. Рассказы. Аркадий Львов. Повесть. Анатолий Кузнецов. Рассказы. Людмила Штерн. Рассказы. Юрий Миловславский. Повесть. Станислав Лем. Фантастический роман. Хорхе-Луис Боргесс. Рассказы. Публицистика А. Воронеля, М. Каганской, Н. Рубинштейн, Н. Воронель, А. Амальрика, А. Янова, В. Соловьева и Е. Клепиковой, И. Голомштока и др.

### Условия подписки

В Израиле: на 6 месяцев — 280 лир  
на 12 месяцев — 510 лир

За рубежом (с доставкой обычной почтой)

на 6 месяцев — 14 долларов (60 франков или 25 марок)  
на 12 месяцев — 24 доллара (100 франков или 43 марки)  
(с доставкой авиапочтой)

на 6 месяцев — 21,5 доллара (91,5 франков или 38,5 марок)  
на 12 месяцев — 39 долларов (163 франка или 70 марок)

*Чеки (можно на русском языке) выписывать на имя “Фонд Москва–Иерусалим” (Foundation Moscow–Jerusalem) и направлять по адресу “22”, P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel или в адрес одного из представителей журнала за рубежом.*

### Прошу подписать меня на журнал “22”

с № . . . . . по № . . . . . Прилагаю чек на сумму . . . . .

Журнал прошу высылать обычной/авиа почтой по адресу . . . . .

фамилия

дом, улица

город, страна

*Имеются в продаже №№ 6, 7, 8 журнала “22” за 1979 год по цене 70 лир (3 доллара) за каждый номер. Заказы и чеки принимаются по адресу, указанному выше.*

### ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖУРНАЛА:

Europe — I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 IEW, England

USA — A. Englin, 5510 97 Street, Corona, N. Y. 11368, USA

Y. Levin, U. of Texas at Austin, Dept. of Slavic Languages,  
Box 7217, Austin, Texas, 78712, USA

L. Khotin, 16 Via Ladena, Monterey, Ca., 93940, USA

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

*Повесть Феликса Розинера "В обнимку с Хроносом", рассказы Эдуарда Кузнецова и Юрия Милославского, стихи Александра Верника и Лии Владимировой, документальную прозу Григория Фреймана "Оказывается, я еврей!", статьи Нины Воронель "Женщины, вперед!", Майи Каганской "Письма из еврейского музея", Исраэля Эльдада "Голда" и др. материалы.*

.....

ИЗДАНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДА  
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ" ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ  
ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ  
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СОЛИДАРНОСТИ  
С ЕВРЕЯМИ СССР

Редакционная коллегия:

В. Богуславский, А. Воронель, Н. Воронель, И. Гольденберг,  
Р. Нудельман (гл. редактор), Н. Рубинштейн, Я. Цигельман  
(отв. секретарь)  
корректор: С. Бар-Ор  
технический редактор: Н. Рубина  
оформление: В. Богуславский

Адрес редакции: п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

*На последней странице обложки — Михаил Лихт на семинаре в Цфате.*

